

ВЛАДИМИР
КОРОЛЕНКО



Слепой музыкант
Повести



ВСЕМИРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

Всемирная литература

Владимир Короленко

Слепой музыкант. Повести

«ЭКСМО»

1882-1896

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

Короленко В. Г.

Слепой музыкант. Повести / В. Г. Короленко — «Эксмо»,
1882-1896 — (Всемирная литература)

ISBN 978-5-04-215598-7

Владимир Галактионович Короленко (1853—1921) — известный русский писатель, общественный деятель и ярый правозащитник. Он последовательно выступал против любого вида ксенофобии, произвола и несправедливости. В сборник включены его рассказы и повести, в центре которых перипетии человеческих судеб, переживания и последствия принятых непростых решений. Из своих путешествий и неоднократных ссылок Короленко почерпнул много материала для создания своих нетривиальных героев. В книгу вошли следующие произведения: «Убийца», «В дурном обществе», «Слепой музыкант», «Птицы небесные», «Река играет», «Парадокс», «Без языка» и «В облачный день».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-04-215598-7

© Короленко В. Г., 1882-1896
© Эксмо, 1882-1896

Содержание

Убийец	6
I. Бакланы	6
II. Лог под чертовым пальцем	8
III. Убийец	11
IV. Сибирский вольтеррианец	21
VI. Евсеич	28
VII. Заседатель	30
VIII. Иван тридцати восьми лет	32
IX. Ход	35
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Владимир Короленко

Слепой музыкант

Всемирная литература (с картинкой)



© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Убивец

І. Бакланы

Когда я на почтовой тройке подъехал к перевозу, уже вечерело. Свежий, резкий ветер рябил поверхность широкой реки и плескал в обрывистый берег крутым прибоем. Заслышав еще издали почтовый колокольчик, перевозчики остановили «плашкот» и дождались нас. Затормозили колеса, спустили телегу, отвязали «чалки». Волны ударили в дощатые бока плашкота, рулевой круто повернул колесо, и берег стал тихо удаляться от нас, точно отбрасываемый ударявшею в него зыбью.

Кроме нашей, на плашкоте находились еще две телеги. На одной я разглядел немолодого, солидного мужчину, по-видимому купеческого звания, на другой – трех молодцов, как будто из мещан. Купец неподвижно сидел в повозке, закрываясь воротником от осеннего свежего ветра и не обращая ни малейшего внимания на случайных спутников. Мещане, наоборот, были веселы и общительны. Один из них, косоглазый и с рваною ноздрей, то и дело начинал наигрывать на гармонии и напевать диким голосом какие-то песни; но ветер скоро обрывал эти резкие звуки, разнося и швыряя их по широкой и мутной реке. Другой, державший в руке полуштоф и стаканчик, потчевал водкой моего ямщика. Только третий, мужчина лет тридцати, здоровый, красивый и сильный, лежал на телеге врасстяжку, заложив руки под голову, и задумчиво следил за бежавшими по небу серыми тучами.

Вот уже второй день, в моем пути от губернского города N, то и дело встречаются эти примелькавшиеся фигуры. Я еду по спешному делу, погоняя, что называется, и в хвост и в гриву, но ни купец на своей кругленькой кобылке, запряженной в двухколесную кибитку, ни мещане на своих поджарых клячах не отстают от меня. После каждой моей деловой остановки или роздыха я настигаю их где-нибудь в пути или на перевозе.

– Что это за люди? – спросил я у моего ямщика, когда тот подошел к телеге.

– Ко`стюшка с товарищами, – ответил он сдержанно.

– Кто такие? – переспросил я, так как имя было мне незнакомо.

Ямщик как будто стеснялся сообщать мне дальнейшие сведения, ввиду того, что разговор наш мог быть услышан мещанами. Он оглянулся на них и потом торопливо ткнул кнутом в направлении к реке.

Я посмотрел в том же направлении. По широкой водной поверхности расходилась темными полосами частая зыбь. Волны были темны и мутны, и над ними носились, описывая беспокойные круги, большие белые птицы, вроде чаек, то и дело падавшие на реку и подымавшие вновь с жалобно-хищным криком.

– Бакланы! – пояснил ямщик, когда плашкот подъехал к берегу и наша тройка выхватила нас на дорогу. – Вот и мещанишки эти, – продолжал он, – те же бакланы. Ни у них хозяйства, ни у них заведений. Землишку, слышь, какая была, и ту летось продали. Теперь вот рыщут по дорогам, что тебе волки. Житья от них не стало.

– Грабят, что ли?

– Пакостят. Чемодан у проезжающего срезать, чаю, место-другое с обоза стянуть – ихнее дело... Плохо придется, так и у нашего брата, у ямщика обратного, лошадь, то и гляди, уведут. Известно, зазеваешься, заснешь – грешное дело, а он уж и тут. Этому вот Ко`стюшке ямщик кнутом ноздрю-то вырвал... Верно!.. Помни: Коська этот – первеющий варвар... Товарища вот ему настоящего теперь нету... И был товарищ, да обозчики убили...

– Попался?

– Попался в деле. Не пофартило. Натешились над ним ребята, обозчики то есть.

Рассказчик засмеялся в бороду.

– Первое дело – пальцы рубили. Опося огнем жгли, а наконец того палку сунули, выпустили кишки, да и бросили... Помер, собака!..

– Да ты-то с ним знакомый, что ли? С чего они тебя водкой-то потчевали?

– Будешь знаком, – сказал ямщик угрюмо. – Сам тоже винища им выпоил немало, потому – опасаясь во всякое время... Помни: Ко`стюшка не даром и нонче-то выехал... Эстолько места даром коней гонять не станет... Фарт чуёт, дьявол, это уж верно!.. Купец вот тоже какой-то... – задумчиво добавил ямщик после некоторого молчания, – не его ли охаживают теперича?.. Только вряд, не похоже будто... И еще с ним новый какой-то. Не видывали мы его раньше.

– Это который в телеге лежал?

– Ну, ну... Жиган, полагать надо... Здоровенный, дьявол!.. – Ты вот что, господин!.. – заговорил он вдруг, поворачиваясь ко мне. – Ты уж, мотри, поберегайся... Ночью не езд. Не за тобой ли, грехом, варвары-то увязались...

– А ты меня знаешь? – спросил я.

Ямщик отвернулся и задергал вожжами.

– Нам неизвестно, – отвечал он уклончиво. – Сказывали – кудиновский приказчик из губернии проедет... Дело не наше...

Очевидно, меня здесь знали. Я вел процесс купцов Кудиновых с казною и на днях его выиграл. Мои патроны были очень популярны в той местности да и во всей Западной Сибири, а процесс производил сенсацию. Теперь, получив из губернского казначейства очень крупную сумму, я торопился в город NN, где предстояли срочные платежи. Времени было немного, почта в NN ходила редко, и потому деньги я вез с собой. Ехать приходилось днем и ночью, кое-где для скорости сворачивая с большой дороги на прямые проселки. Ввиду этого предшествовавшая мне молва, способная поднять целые стаи хищных бакланов, не представляла ничего утешительного.

Я оглянулся назад. Несмотря на наступавший сумрак, по дороге виднелась быстро скакавшая тройка, а за нею на некотором расстоянии катилась купеческая таратайка.

II. Лог под чертовым пальцем

На ...ской почтовой станции, куда я прибыл вечером, лошадей не оказалось.

– Эх, батюшка, Иван Семеныч! – уговаривал меня почтовый смотритель, толстый добряк, с которым во время частых переездов я успел завязать приятельские отношения. – Ей-богу, мой вам совет: плюньте, не ездите к ночи. Ну их и с делами! Своя-то жизнь дороже чужих денег. Ведь тут теперь на сто верст кругом только и толков что о вашем процессе да об этих деньжищах. Бакланишки, поди, уже заметались... Ночуйте!..

Я, конечно, сознавал всю разумность этих советов, но последовать им не мог.

– Надо ехать... Пошлите, пожалуйста, за вольными... И то время уходит...

– Эх вы, упрямец! Ну, да тут-то я вам дам дружка¹ надежного. Он вас доставит в Б. к молокану. А уж там непременно ночуйте. Ведь ехать-то мимо Чертова лога придется, место глухое, народец аховый... Хоть свету дождитесь.

Часа через два я сидел уже в телеге, напутствуемый советами приятеля. Добрые лошади тронулись сразу, а ямщик, подбодренный обещанием на водку, гнал их всю дорогу, как говорится, в три кнута; до Б. мы доехали живо.

– Куда теперь меня доставишь? – спросил я у ямщика.

– К дружку, к молокану. Мужик хороший.

Проехав мимо нескольких раскиданных по лесу избенок, мы остановились у ворот просторного, очевидно зажиточного, дома. Нас встретил с фонарем в руке старик с длинною седою бородой, очень почтенного вида. Он поднял свой фонарь над головой и, оглядев мою фигуру своими подслеповатыми глазами, сказал спокойным старческим голосом:

– А, Иван Семеныч!.. То-то сказывали тут ребята проезжие: поедет кудиновский приказчик из городу... Коней, мол, старик, готовь... А вам, я говорю, какая забота?.. Они, может, ночевать удумают... Дело ночное.

– А какие ребята-то? – перебил мой ямщик.

– А шут их знает. Бакланишки, надо быть! На жиганов тоже смахивают по виду-то... Думаю так, что из городу, а кто именно – сказать не могу... Где их всех-то узнаешь... А ты, господин, ночуешь, что ли?

– Нет. Лошадей мне, пожалуйста, поскорей! – сказал я, не слишком-то довольный предшествовавшей мне молвой.

Старик немного подумал.

– Заходи в избу, чего здесь-то стоять... Вишь, горе-то, лошадей у меня нету... Третьего днись в город с кладью парнишку услал. Как теперь будешь?.. Ночуй.

Эта новая неудача сильно меня обескуражила. Ночь между тем сгустилась в такую беспросветную тьму, какая возможна только в сибирскую ненастную осень. Небо сплошь было покрыто тяжелыми тучами. Взглянув вверх, можно было с трудом различить, как неслись во мраке тяжелые, безобразные громады; но внизу царствовала полная темнота. На два шага не видно было человека. Моросил дождик, слегка шумя по деревьям. В густой тайге шел точно шорох и таинственный шепот.

И все-таки ехать было необходимо. Войдя в избу, я попросил хозяина послать за лошадьми к кому-нибудь из соседей.

– Ох, господин, – закачал старик своею седою головой, – на грех ты торопишься, право... Да и ночка же выдалась! Египетская тьма, прости господи!

¹ Дружками называют в Сибири ямщиков, «гоняющих» по вольному найму.

В комнату вошел мой ямщик, и у него с хозяином пошли переговоры и советы. Оба еще раз обратились ко мне, прося остаться. Но я настаивал. Мужики о чем-то шептались, перебирали разные имена, возражали друг другу, спорили.

– Ладно, – сказал ямщик, как будто неохотно соглашаясь с хозяином. – Будут тебе лошади. Съезжу сейчас недалече тут, на заимку.

– Нельзя ли поближе найти? Пожалуй, долго будет...

– Недолго! – решил ямщик, а хозяин добавил сурово:

– Куда торопиться-то? Знаешь, пословица говорится: «Скоро, да не споро»... Успеешь...

Ямщик стал одеваться за перегородкой. Хозяин продолжал что-то внушать ему своим дребезжавшим старческим голосом. Я начал дремать у печки.

– Ну, парень, – услышал я голос хозяина уже за дверью, – скажи убивцу-то, пушай потопливается... Вишь, ему не терпится...

Почти тотчас же со двора послышался топот скачущей лошади.

Последняя фраза старика рассеяла мою дремоту. Я сел против огня и задумался. Темная ночь, незнакомое место, незнакомые люди и не совсем понятные речи, и, наконец, это странное, зловещее слово... Мои нервы были расстроены.

Через полтора часа под окнами послышался звон колокольчика. Тройка остановилась у подъезда. Я собрался и вышел.

Небо чуть-чуть прояснилось. Тучи бежали быстро, точно торопились куда-то убраться вовремя. Дождь перестал, только временами налетали откуда-то сбоку, из мрака, крупные капли, как будто второпях роняемые быстро бежавшими облаками. Тайга шумела. Подымался к рассвету ветер.

Хозяин вышел провожать меня с фонарем, и благодаря этому обстоятельству я мог рассмотреть моего ямщика. Это был мужик громадного роста, крепкий, широкоплечий, настоящий гигант. Лицо его было как-то спокойно-угрюмо, с тем особенным отпечатком, какой кладет обыкновенно застарелое сильное чувство или давно засевшая невеселая дума. Глаза глядели ровно, упорно и мрачно.

Правду сказать, у меня мелькнуло-таки желание отпустить восвояси этого мрачного богатыря и остаться на ночь в светлой и теплой горнице молокана, но это было только мгновение. Я ощупал револьвер и сел в повозку. Ямщик закрыл полог и неторопливо полез на козлы.

– Ну, слышь, убивец, – напутствовал нас старик, – смотри, парень, в оба. Сам знаешь...

– Знаю, – ответил ямщик, и мы нырнули в тьму ненастной ночи.

Мелькнуло еще два-три огонька разрозненных избенок. Кое-где на фоне черного леса клубился в сыром воздухе дымок, и искры вылетали и гасли, точно таяли во мраке. Наконец последнее жилье осталось сзади. Вокруг была лишь черная тайга да темная ночь.

Лошади бежали ровно и быстро мчали меня к роковому логу, однако до лога оставалось еще верст пять, и я мог на свободе обдумать свое положение. Как это случается иногда в минуту возбуждения, оно представилось мне вдруг с поразительной ясностью. Вспомнив хищнические фигуры бакланов, таинственность сопровождавшего их купца, затем странную неотвязчивость, с какою все они следовали за мною, – я пришел к заключению, что в логу меня непременно ожидает какое-нибудь приключение. Роль, какую примет при этом угрюмый возница, оставалась для меня загадкой Эдипа.

Загадка эта скоро, однако, должна была разрешиться. На посветлевшем несколько, но все еще довольно темном небе выделялся уже хребет. На нем, вверху, шумел лес, внизу, в темноте, плескалась речка. В одном месте большая черная скала торчала кверху. Это и был Чертов Палец.

Дорога жалась над речкой, к горам. У Чертова Пальца она отбегала подальше от хребта, и на нее выходил из ложбины проселок. Это было самое опасное место, прославленное многочисленными подвигами рыцарей сибирской ночи. Узкая каменистая дорога не допускала быст-

рой езды, а кусты скрывали до времени нападение. Мы подъезжали к ложбине. Чертов Палец надвигался на нас, все вырастая вверх, во мраке. Тучи пробегали над ним и, казалось, задевали за его вершину.

Лошади пошли тихо. Коренная осторожно постукивала копытами, внимательно вглядываясь в дорогу. Пристяжки жались к оглоблям и пугливо храпели. Колокольчик вздрагивал как-то неровно, и его тихое потренькивание, отдаваясь над рекой, расплывалось и печально тонуло в чутком воздухе...

Вдруг лошади остановились. Колокольчик порывисто дрогнул и замер. Я привстал. По дороге, меж темных кустов, что-то чернело и двигалось. Кусты шевелились.

Ямщик остановил лошадей как раз вовремя: мы избегли нападения сбоку; но и теперь положение было критическое. Вернуться назад, свернуть в сторону – было невозможно. Я хотел уже выстрелить наудачу, но вдруг остановился.

Громадная фигура ямщика, ставшего на козлах, закрыла кусты и дорогу. Убивец поднялся, неторопливо передал мне вожжи и сошел на землю.

– Держи ужо. Не пали!..

Он говорил спокойно, но в высшей степени внушительно. Мне не пришлось в голову слушаться: моих подозрений как не бывало; я взял вожжи, а угрюмый великан двинулся вперед, по направлению к кустам. Лошади тихо и как-то разумно двинулись за хозяином сами.

Шум колес по каменистой дороге мешал мне слушать, что происходило в кустах. Когда мы поравнялись с тем местом, где раньше заметно было движение, убивец остановился.

Все было тихо, только вдали от дороги, по направлению к хребту, шумели листья и слышался треск сучьев. Очевидно, там пробирались люди. Передний, видимо, торопился.

– Ко`стюшка это, подлец, впереди всех бежит, – сказал убивец, прислушиваясь к шуму. – Э, да один, гляди-ко, остался!

В это время из-за куста, очень близко от нас, выделилась высокая фигура и как-то стыдливо нырнула в тайгу вслед за другими. Теперь явственно слышался в четырех местах шум удалявшихся от дороги людей.

Убивец все так же спокойно подошел к своим коням, поправил упряжку, звякнул дугой с колокольчиком и пошел к облучку.

Вдруг на утесе, под Пальцем, сверкнул огонек. Грянул ружейный выстрел, наполнив пустоту и молчание ночи. Что-то шлепнулось в переплет кошовки и шарахнулось затем по кустам.

Убивец кинулся было к утесу, как разъяренный, взбесившийся зверь, но тотчас же остановился.

– Слышь, Коська, – сказал он громко, глубоко взволнованным голосом, – не дури, я те говорю. Ежели ты мне теперича невинную животину испортил – уходи за сто верст, я те достану!.. – Не пали, господин! – добавил он сурово, обращаясь ко мне.

– Мотри и ты, убивец, – послышался от утеса чей-то сдержанный, как будто не Костюшкин голос. – Не в свое дело пошто суешься?

Говоривший как будто боялся быть услышанным тем, к кому обращался.

– Не грози, ваше степенство, – с презрением ответил ямщик. – Не страшен небось, даром что с бакланами связался!

Через несколько минут лог под Чертовым Пальцем остался у нас назади. Мы выехали на широкую дорогу.

III. Убивец

Мы проехали версты четыре в глубоком молчании. Я обдумывал все случившееся, ямщик только перебирал вожжи, спокойно понукая или сдерживая своих коней. Наконец я заговорил первый:

– Ну, спасибо, приятель! Без тебя мне, пожалуй, пришлось бы плохо!

– Не на чем, – ответил он.

– Ну, как не на чем? Эти молодцы, видно, народ отчаянный...

– Отчаянный, это верно!

– А ты их знаешь?

– Ко`стюшку знаю... Да его, варвара, почитай, всякая собака знает... Купца тоже ранее примечал... А вот того, который остался, не видал будто... Видишь ты, понадеялся на Ко`стюшку, остался. Да нет, Ко`стюшка, брат, не того десятка... Завсегда убежит в первую голову... А этот смелый...

Он помолчал.

– Не бывало этого ранее, никогда не бывало, – заговорил он опять тихо, покачивая головой. – Ко`стюшка его откуда ни то раздобыл... Скликает воронья на мою голову, проклятый...

– А почему они тебя так боятся?

– Боятся, верно это!.. Уложил я у них тут одного...

Он остановил лошадей и повернулся на козлах.

– Погляди, – сказал он, – вон он, лог-то, виднеется, погляди, погляди!.. Тут вот, в этом самом логу, я этого человека убил...

Мне показалось, что, когда он высказывал это признание, голос его дрожал; мне показалось также, что я вижу в его глазах, слабо освещенных отблеском востока, выражение глубокой тоски.

Повозка стояла на гребне холма. Дорога шла на запад. Сзади, за нами, на светлеющем фоне востока, вырисовывалась скалистая масса, покрытая лесом; громадный камень, точно поднятый палец, торчал кверху. Чертов лог казался близехонько.

На вершине холма нас обдавало предутренним ветром. Озябшие лошади били копытами и фыркали. Коренная рванула вперед, но ямщик мгновенно осадил всю тройку; сам он, перегнувшись с облучка, все смотрел по направлению к логу.

Потом он вдруг повернулся, собрал вожжи, приподнялся на козлах и крикнул... Лошади сразу подобрались, подхватили с места, и мы помчались с вершины холма под гору.

Это была бешеная скачка. Лошади прижали уши и понеслись, точно в смертельном страхе, а ямщик то и дело приподнимался и без слова помахивал правой рукой. Тройка как будто чужая, хотя и не могла видеть этих движений... Земля убегала из-под колес, деревья, кусты бежали навстречу и будто падали за нами назад, скошенные бешеным вихрем...

На ровном месте мы опять поехали тише. От лошадей валил пар. Коренная тяжело дышала, а пристяжки вздрагивали, храпели и водили ушами. Помаленьку они, однако, становились спокойнее. Ямщик отпустил вожжи и ласково ободрял коней...

– Тише, милые, тише!.. Не бойся... Вот ведь лошадь, – повернулся он ко мне, – бессловесная тварь, а тоже ведь понимает... Как на *угор* этот выехали да оглянулись – не удержишь... Грех чуют...

– Не знаю, – сказал я, – может, оно и так; да только на этот раз ты ведь сам их погнал.

– Погнал нечто? Ну, может, и впрямь погнал. Эх, барин! Кабы знал ты, что у меня на сердце-то...

– Что ж? Ты расскажи, так узнаю...

Убивец потупился.

– Ладно, – сказал он помолчав, – расскажу тебе... Эх, милые! Ступай, ступай, не бойся... Лошади застучали по мягкой дороге ровною, частою рысцой.

– ...Видишь ты... Было это давно... Оно хоть и не очень давно, ну, да воды-то утекло много. Жизнь моя совсем по-иному пошла, так вот поэтому и кажется все, что давно это было. Крепко меня люди обидели – начальники. А тут и бог, вдобавок, убил: жена молодая да сынишко в одночасье померли. Родителей не было – остался один-одинешенек на свете: ни у меня родных, ни у меня друга. Поп – и тот последнее имение за похороны прибрал. И стал я тогда задумываться. Думал, думал и наконец того, пошатился в вере. В старой-то пошатился, а новой еще не обрел. Конечно, дело мое темное. Грамоте обучен плохо; разуму своему тоже не вовсе доверяю... И взяла меня от этих мыслей тоска, то есть такая тоска страшная, что, кажется, рад бы на белом свете не жить... Бросил я избу свою, какое было еще хозяйствишко – все кинул... Взял про запас полушубок, да порты, да сапоги-пару, вырезал в тайге посошок и пошел...

– Куда?

– Да так, никуда. В одном месте поживу, за хлеб поработаю – поле вспашу хозяину, а в другое – к жатве поспею. Где день проживу, где неделю, а где и месяц; и все смотрю, как люди живут, как богу молятся, как веруют... Праведных людей искал.

– Что же, нашел?

– Как сказать тебе?... Конечно, всякие тоже люди есть, и у всякого, братец, свое горе. Это верно. Ну, только все же плохо, братец, в нашей стороне люди бога-то помнят. Сам тоже понимаешь: так ли бы жить-то надо, если по божьему закону?... Всяк о себе думает, была бы мамона сыта. Ну, что еще: который грабитель в кандалах закован идет, и тот не настоящий грабитель... Правду ли я говорю?

– Пожалуй... Ну, и что же?

– Ну, еще пуще стал на миру тосковать... Вижу, что толку нету, – мечусь, все равно как в лесу... Теперь, конечно, маленькое понятие имею, да и то... Ну, а тогда вовсе стал без ума. Надумал, например, в арестанты поступить...

– Это как же?

– А так, очень просто: назвался бродягой – и посадили. Вроде крест на себя наложил...

– Что ж, легче ли стало от этого?

– Какой-те легче! Конечно, глупость одна. Ты вот, может, в тюрьме не бывал, так не знаешь, а я довольно узнал, каков это есть монастырь. Главное дело – без пользы всякой живут люди, без работы. Суется это он из угла в угол, да пакость какую ни есть и надумает. На скверное слово, на отчаянность – самый скорый народ, а чтоб о душе подумать, о боге там – это за большую редкость, и даже еще смеются... Отчаянный самый народ. Вижу я, что, по глупости своей, не в надлежащее место попал, и объявил свое имя, стал из тюрьмы проситься. Не пускают. Справки пошли, то, другое... Да еще говорят: как смел на себя самовольно это такое звание принять?... Истомили вконец. Не знаю уж, что б и было со мной, да вышел тут случай... И плохо мне от этого самого случая пришлось... ну, а без него-то, пожалуй, было бы еще хуже...

Прошел как-то по тюрьме говор: Безрукого, мол, покаянника опять в острог приведут. Слышу я разговоры эти: кто говорит «правда», другие спорятся, а мне, признаться, в ту пору и ни к чему было: ведут так ведут. Мало ли каждый день приводят? Пришли это из городу арестантки, говорят: «Верно. Под строгим конвоем Безрукого водят. К вечеру беспрременно в острог». *Шпанка*² на двор повалила – любопытно. Вышел и я погулять тоже: не то чтобы любопытно было, а так, больше с тоски, все, бывало, по двору суешься. Только стал я ходить, задумался и о Безруком забыл совсем. Вдруг отворяют ворота, смотрю – ведут старика. Ста-

² Шпанкой на арестантском жаргоне зовут серую арестантскую массу.

ричонка-то маленький, худенький, борода седая болтается, длинная; идет, сам пошатывается – ноги не держат. Да и рука одна без действия висит. А между прочим, пятеро конвою с ним, и еще штыки к нему приставили. Как увидел я это, так меня даже шатнуло... «Господи, думаю, чего только делают. Неужели же человека этак водить подобает, будто тигру какую? И диви бы еще богатырь какой, а то ведь старичок ничтожный, неделя до смерти ему!...»

Взяла меня страшная жалость. И что больше смотрю, то больше сердце у меня разгорается. Провели старика в контору: кузнеца позвали – ковать в ручные и ножные кандалы, накрепко. Взял старик железы, покрестил старым крестом, сам на ноги надел. «Делай!» – говорит кузнецу. Потом наручни покрестил, сам руки продел. «Сподоби, говорит, господи, покаяния ради!»

Ямщик замолчал и опустил голову, как будто переживая в воспоминании рассказанную сцену. Потом, тряхнув головой, заговорил опять:

– Прельстил он меня тогда, истинно тебе говорю: за сердце взял. Удивительное дело! После-то я его хорошо узнал: чистый дьявол, прости господи, сомуститель и враг. А как мог из себя святого представить! Ведь и теперь, как вспомню его молитву, все не верится: другой человек тогда был, да и только.

Да ведь и не я один. Поверишь ли, шпанка тюремная – и та притихла. Смотрят все, молчат. Которые раньше насмехались, и те примолкли, а другой даже и крестное знамение творит. Вот, брат, какое дело!

Ну, а уж меня он прямо руками взял. Потому как был я в то время в задумчивости, вроде оглашенного, и взошло мне в голову, что есть этот старик истинный праведник, какие в старину бывали. Ни с кем я в ту пору не то что дружбу водить, а даже не разговаривал. Я ни к кому, и ко мне никто. Иной раз и слышу там разговоры ихние, да все мимо ушей, точно вот мухи жужжат... Что ни надумаю – все про себя; худо ли, хорошо ли – ни у кого не спрашивал. Вот и задумал я к старику к этому в «секретную» пробраться; подошел случай, сунул часовым по пятаку, они и пропустили, а потом и так стали пускать, даром. Глянул я к нему в оконце, вижу: ходит старик по камере, железы за ним волочатся, да все что-то сам себе говорит. Увидел меня, повернулся и подходит к дверям.

«Что надо?»

«Ничего, говорю, не надо, а так... навестить пришел. Чай, одному-то скучно».

«Не один я здесь, отвечает, а с Богом, с Богом-то не скучно, а все же доброму человеку рад».

А я стою перед ним дурак дураком, он даже удивляется, посмотрит на меня и покачает головой. А раз как-то и говорит:

«Отойди-ка, парень, от оконца-то, хочу тебя всего видеть».

Отошел я маленько, он глаз-то к дыре приставил, смотрел, смотрел и говорит:

«Что ты за человек за такой, сказывайся».

«Чего сказываться-то, – отвечаю ему, – самый потерянный человек, больше ничего».

«А можно ли, говорит, на тебя положиться? Не обманешь?..»

«Никого, мол, еще не обманывал, а тебя и подавно. Что прикажешь, все сделаю верно».

Подумал он немножко, а потом опять говорит: «Нужно мне человека на волю спсылать нынче ночью. Не сходишь ли?» – «Как же мне, говорю, отсюда выйти?» – «Я тебя научу», – говорит. И точно, так научил, что вышел я ночью из тюрьмы, все равно как из избы своей. Нашел человека, которого мне он указал, сказал ему «слово». К утру назад. Признаться, как стал подходить к острогу, на самой зорьке, стало у меня сердце загораться. «Что, думаю, мне за неволя в петлю лезти? Взять да уйти!...» А острог-то, знаешь, за городом стоит. Дорога тут пролегла широкая. У дороги на травушке роса блестит, хлеба стоят-наливаются, за речкой лесок шумит маленечко... Приволье!.. А назад оглянешься: острог стоит, точно сыч насупившись... Да еще ночью-то, дело, конечно, сонное... А вспомнишь, как тут с зарей день колесом завер-

тится, – просто беда! Сердце не терпит, так вот и подмывает уйти по дороге на простор да на волюшку...

Однако вспомнил про старика своего... «Неужто, думаю, я его обману?» Лег на траву, в землю уткнулся, полежал маленечко, потом встал да и повернулся к острогу. Назад не гляну... Подошел поближе, поднял глаза, а в башенке, где у нас были секретные камеры, на окошке мой старик сидит да на меня из-за решетки смотрит.

Пробрался я днем-то в его камеру, обсказываю все, как, значит, его приказание исполнил. Повеселел он. «Ну, говорит, спасибо тебе, дитятко. Сослужил ты мне службу, век не забуду. А что, парень, – спрашивает после, – на волю-то небось крепко хочется?» А сам смеется. – «Так, говорю, хочется, смерть!» – «То-то, говорит. А за что ты сюда-то попал, за какое качество?» – «Никакого, говорю, качества не было. Так, глупость моя, больше ничего». – Покачал он тут головой. «Эх, говорит, посмотреть на тебя, парень, и то обидно. Эдакую тебе бог дал силу, и года твои, можно сказать, уж не маленькие, а ты, кроме глупостей этих, ничего не знаешь на свете. Вот сидишь теперь тут... Что толку? На миру, брат, грех, на миру и спасенье...»

«Греха, отвечаю, много».

«А здесь мало, что ли? Да и грехи-то здесь все бестолковые. Мало ли ты здесь нагрешил-то, а каешься ли?» – «Горько мне, говорю». – «Горько! А о чем – и сам не знаешь. Не есть это покаяние настоящее. Настоящее покаяние сладко. Слушай, что я тебе скажу, да помни: без греха один бог, а человек по естеству грешен и спасается покаянием. А покаяние по грехе, а грех на миру. Не согрешишь – и не покаешься, а не покаешься – не спасешься. Понял ли?»

А я, признаться, в ту пору не совсем его слова понимал, а только слышу, что слова хорошие. Притом и сам уже я ранее думал: какая есть моя жизнь? Все люди – как люди, а я точно и не живу на свете: все равно как трава в поле или бы лесина таежная. Ни себе, ни другим.

«Это, говорю, верно. На миру хоть и не без греха жить, так по крайности жить, чем этак-то маяться. А только как мне жить, не знаю. Да еще когда из острога-то выпустят».

«Ну, – говорит старик, – это уж мое дело. Молился я о тебе: дано мне извести из темницы душу твою... Обещаешь ли меня слушаться – укажу тебе путь к покаянию». – «Обещаюсь, говорю». – «И клянешься?» – «И клянусь...» – Поклялся я клятвой, потому что в ту пору совсем он завладел мною: в огонь прикажи – в огонь пойду, а в воду, так в воду.

Верил я этому человеку. И стал было мне один арестантик говорить: «Ты, мол, зачем это с Безруким связываешься? Не гляди, что он живой на небо пялится: руку-то ему купец на разбое пульей прострелил!..» Да я слушать не стал, тем более что и говорил-то он во хмелю, а я пьяных страсть не люблю. Отвернулся я от него, и он тоже осердился: «Пропadaй, говорит, дурья голова!» А надо сказать: справедливый был человек, хоть и пьяница.

Вскороги Безрукому облегчение вышло. Перевели его из секретной в общую, с другими прочими вместе. Только и он, как я же, все больше один. Бывало, начнут арестанты приставать, шутки шутить, он хоть бы те слово в ответ. Поведет только глазами, так тут самый отчаянный опешит. Нехорошо смотрел...

Ну, а еще через малое время – и совсем освободился. Гулял я раз, летнее дело, по двору; смотрю, заседатель в контору прошел, потом провели к нему Безрукого.

Не прошло полчаса, выходит Безрукой с заседателем на крыльцо, в своей одежде, как есть на волю выправился, веселый. И заседатель тоже смеется. «Вот ведь, думаю, привели человека с каким отягчением, а между прочим, вины за ним не имеется». Жалко мне, признаться, стало – тоска. Вот, мол, опять один останусь. Только огляделся он по двору, увидел меня и манит к себе пальцем. Подошел я, снял шапку, поклонился начальству, а Безрукой-то и говорит:

«Вот, ваше благородие, нельзя ли этого парня обсудить поскорее? Вины за ним большой нету».

«А как тебя звать-то?» – спрашивает заседатель.

«Федором, мол, зовут, Силиным».

«А, говорит, помню. Что ж, это можно. И судить его не надо, потому что за глупость не судят. Вывести за ворота, дать по шее раза, чтоб напредки не в свое место не совался, только и всего. А между прочим, справки-то, кажись, давно у меня получены. Через неделю непременно отпущу его...»

«Ну вот и отлично, – говорит Безрукой. – А ты, парень, – отозвал он меня к сторонке, – как ослобонишься, ступай на Кильдеевскую заимку, спроси там хозяина Ивана Захарова, я ему о тебе поговорю, дитятко; да клятву-то помни».

И ушли они. А через неделю, точно, и меня на волю отпустили. Вышел я из острога и тотчас отправился в эти вот самые места. Разыскал Ивана Захарова. Так и так, говорю, меня Безрукой прислал. «Знаю, говорит. Сказывал о тебе старик. Что ж, становись пока в работники ко мне, там увидим». – «А сам-то, мол, Безрукой где же находится?» – «В отлучке, говорит, – по делам он все ездит. Никак скоро будет».

Вот и стал я жить на заимке – работником не работником – так, живу, настоящего дела не знаю. Семья у них небольшая была. Сам хозяин, да сын большой, да работник... Я четвертый. Ну, бабы еще, да Безрукой наезжал. Хозяева – люди строгие, староверы, закон соблюдают; табаку, водки – ни-ни! А работник Кузьма – тот у них полоумный какой-то был, лохматый да черный, как эфиоп. Чуть, бывало, колокольчик забрякает, он сейчас в кусты и захоронится. А Безрукого-то пуще всех боялся. Издали, бывало, завидит, тотчас бегом в тайгу, и все в одно место прятался. Зовут хозяева, зовут – не откликается. Пойдет к нему сам Безрукой, слово скажет, он и идет за ним, как овечка, и все опять справляет, как надо.

Наезжал Безрукой на заимку-то не часто и со мной почитай что не разговаривал. Беседует, бывало, с хозяином да на меня смотрит, как я работаю; а подойдешь к нему – все некогда. «Погоди, говорит, дитятко, уж на заимку перейду, тогда поговорим. Теперь недосуг». А мне тоска. Хозяева, положим, работой не притесняли, пища хорошая, слова дурного не слыхивал. С проезжающими и то посылали редко. Все больше либо сам хозяин, либо сын с работником, особенно ночью. Ну, да мне без работы-то еще того хуже; пуще дума одолевает, места себе не найду...

Прошло никак недель пять, как я из тюрьмы вышел. Приезжаю раз вечером с мельницы; гляжу, народу у нас в избе много... Распруг коня; только хочу на крылец идти – хозяин мне навстречу. «Не ходи, говорит, погоди малость, сам позову. Да слышь! Не ходи, я тебе говорю». Что же, думаю себе, за оказия такая? Повернулся я, пошел к сеновалу. Лег на сено – не спится. Вспомнил, что топор у меня около ручья оставлен. Сходить, думаю: станет народ расходиться, как бы кто не унес. Пошел мимо окон да как-то и глянул в избу. Вижу: полна изба народу, за столом заседатель сидит; водка перед ним, закуска, перо, бумага – следствие, одним словом. А в стороне-то, на лавке, Безрукой сидит. Ах ты господи!.. Точно меня обухом по голове шиба-нуло!.. Волосы у него на лоб свесились, руки назад связаны, а глаза точно угли... И такой он мне страшный тогда показался, сказать не могу...

Отшатнулся я от окна, отошел к сторонке... Осенью дело это было. Ночь стояла звездная да темная. Никогда мне, кажется, ночи этой не забыть будет. Речка эта плещется, тайга шумит, а сам я точно во сне. Сел на бережку, на траве, дрожу весь... Господи!..

Долго ли, коротко ли сидел, только слышу: кто-то идет из тайги тропочкой мимо, в белом пинжаке, в фуражке, палочкой помахивает. Писарь... верстах в четырех жил. Прошел он по мостику и прямо в избу. Потянуло тут и меня к окну: что будет?

Писарь вошел в двери, снял шапку, смотрит кругом. Сам, видно, не знал, зачем позвали. Потом пошел к столу мимо Безрукого и говорит ему: «Здравствуй, Иван Алексеевич!» Безрукой его так и опалил глазами, а хозяин за рукав дернул да шепнул что-то. Писарь, видно, удивляется. Подошел к заседателю, а тот, уже порядочно выпивши, смотрит на него мутными глазами, точно спросонья. Поздоровались. Заседатель и спрашивает:

«Знаете вы этого человека?» – Сам в Безрукого пальцем тычет.

Посмотрел писарь, с хозяином переглянулся.

«Нет, говорит, не видывал будто».

Что такое, думаю, за оказия? Ведь и заседатель-то его хорошо знает.

Потом заседатель опять:

«Это не Иван Алексеев, здешний житель, по прозванию Безрукой?»

«Нет, – отвечал писарь, – не он».

Взял заседатель перо, написал что-то на бумаге и стал вычитывать. Слушаю я за окном, дивлюсь только. По бумаге-то выходит, что самый этот старик Иван Алексеев не есть Иван Алексеев; что его соседи, а также и писарь не признают за таковое лицо, а сам он именует себя Иваном Ивановым и пачпорт кажет. Вот ведь удивительное дело! Сколько народу было, все руки прикладывали, и ни один его не признал. Правда, и народ тоже подобрали на тот случай! Все эти понятия у Ивана Захарова чуть не кабальные, в долгу.

Кончили это дело, понятых отпустили... Безрукого заседатель развязать велел еще раньше. Иван Захаров выносит деньги, дает заседателю, тот сосчитал, сунул в карман. «Теперь, говорит, тебе, старик, беспрерывно месяца на три уехать надо. А не уедешь – смотри, на меня не пеняй... Ну, лошадей мне давайте!...»

Отошел я от окна, прошел на сеновал, думаю, сейчас кто-нибудь к лошадям выйдет. Не хотелось мне, чтобы меня под окном-то увидели. Лежу на сене, спать не сплю, а все будто сон вижу, с мыслями не могу собраться... Слышу – проводили заседателя. Побрякал колокольцами, уехал... В доме все улеглись, огни погасли. Стал было и я дремать, да вдруг это слышу опять: динь, динь, динь! Колокольчик звенит. А ночь-то тихая-претихая, далеко слышно. И все это ближе да ближе: из-за реки к нам будто едут. Малое время спустя и в избе колокольчик-то услышали, огонь вздули. Тройка на двор въехала. Знакомый ямщик проезжающих привез – значит, по дружбе; мы к нему возили, он к нам.

Ну, думаю себе, может, ночевать станут. Да и то: ночью редко меня посылали; больше сам хозяин либо сын да работник. Стал я опять дремать, да вдруг слышу: Безрукой с хозяином тихонько под навесом разговаривают.

«Ну, как же быть? – старик-то говорит. – Да где же Кузьма?»

«То-то вот, – хозяин отвечает. – Иван с заседателем уехал, а Кузьма, как народ увидел, так сейчас теку. И в кустах его, слышь, нету. Дурак парень этот. Совсем, кажись, ума решился».

«Ну, а Федор?» – старик опять спрашивает: это уж про меня.

«Федор, мол, вечер с мельницы приехал, хотел в избу идти, да я не пустил».

«Хорошо, говорит, надо быть, спать завалился. Ничего не видал?»

«Надо полагать – ничего. Прямо на сеновал ушел».

«Ну, ладно. Пустить его, видно, сегодня в дело...»

«Ладно ли будет?» – говорит Захаров.

«Ничего, ладно. Парень этот простой, а сила в нем чудесная; и меня слушает – кругом пальца его оберну. И то сказать: я ведь в самом деле теперича на полгода еду, а парня этого надо к делу приспособить. Без меня дело не обойдется».

«Все же будто сумнительный человек, – говорит Захаров. – Не по уму он мне что-то, даром что дурачком глядит».

«Ну, ну, – старик отвечает. – Знаю я его. Простой парень. Нам таких и надо. А уж Кузьму как-нибудь сбывать придется. Как бы чего не напрокудил».

Стали меня окликать: Федор, а Федор! А у меня духу нет ответить. Молчу. Полез старик на сеновал, ощупал меня. «Вставай, Федорушка! – говорит, да таково ласково. – Ты, спрашивает, спал ли?» – «Спал, говорю...» – «Ну, – говорит, – дитяtko, вставай, запрягай коней; с проезжающим поедешь. Помнишь ли, в чем клялся?» – «Помню», – говорю. А у самого зубы-то щелкают, дрожь по телу идет, холод. «Может, – говорит старик, – подошло твое время. Слушайся, что я прикажу. А пока – запрягай-ка проворней: проезжающие торопятся...»

Вытащил я из-под навеса телегу, захомутал коренную, стал запрягать, а сердце так и стучит, так и колотится! И все думаю, не сонное ли, мол, все это видение? В голове суета какая-то, а мыслей нету...

Безрукой, гляжу, тоже коня седлает, а конек у него послушный был, как собачонка. Одною рукой он его седлал. Сел потом на него, сказал ему слово тихонько, конь и пошел со двора. Запрег я коренную, вышел за ворота, гляжу: Безрукой рысцой уже в тайгу въезжает. Месяц-то хоть не взошел еще, а все же видно маленько. Скрылся он в тайгу, и у меня на сердце-то полегчало.

Подал я лошадей. В избу меня проезжающие позвали – барыня молодая да трое ребят, мал мала меньше. Старшему-то четыре годика, а младшей самой девочке года два, не более. И куда только, думаю, тебе, горемычной, экое место ехать доводится, да еще одной, без мужа? Барыня-то тихая, приветная. Посадила меня за стол, чаем напоила. Спрашивает: какие места, нет ли шалостей? – «Не слыхивал», – говорю, а сам думаю: ох, родная, боишься ты, видно. Да и как ей, бедной, не бояться: клади с ней много, богато едет, да еще с ребятами; материнское сердце – вещун. Тоже, видно, неволюшка гонит.

Ну, сели, поехали. До свету еще часа два оставалось. Выехали на дорогу, с версту этак проехали; гляжу – пристяжка у меня шарахнулась. Что, думаю, такое тут? Остановил коней, оглядываюсь: Кузьма из кустов ползет на дорогу. Встал обок дороги, смотрит на меня, сам лохмами своими трясет, смеется про себя... Фу ты, окаянная сила! У меня и то кошки по сердцу скребнули, а барыня моя, гляжу, ни жива ни мертва... Ребята спят, сама не спит, мается. На глазах слезы. Плачет... «Боюсь я, говорит, всех вас боюсь...»

«Что ты, говорю, Христос с тобой, милая. Или я душегуб какой?.. Да вы почто же ночевать-то не остались?..»

«Там-то, говорит, еще того хуже. Прежний ямщик сказал: к ночи в деревню приедем, а сам в глухую тайгу завез, на заимку... У старика-то, – говорит барыня, – пуще всех глаза нехорошие...»

Ах ты господи, думаю, что мне теперича с нею делать? Убивается, бедная.

«Что ж, говорю, теперича, как будете: назад ли вернетесь или дальше поедем?» Хожу я круг ее – не знаю, как и утешить, потому жалко. А тут еще и лог этот недалеко; с проселку на него выезжать приходилось, мимо Камня. Вот видит она, что и сам я с нею опешил, и засмеялась:

«Ну, садись, говорит, поезжай. Не вернусь я назад: там страшнее... С тобой лучше поеду, потому что лицо у тебя доброе». – Теперь это, братец, люди меня боятся, убийцем зовут, а тогда я все одно как младенец был, печати этой Каиновой на мне еще не было.

Повеселел и я с нею. Сел на козлы. «Давай, – говорит моя барыня, – станем разговаривать». Спрашивает про меня и про себя рассказывает, едет к мужу. Сосланный муж у нее, из богатых. «А ты, говорит, у этих хозяев давно ли живешь; в услужении ли, как ли?» – «В услужении, говорю, недавно нанялся». – «Что, мол, за люди?» – «Люди, говорю, ничего... А впрочем, кто их знает. Строгие... водки не пьют, табаку не курят». – «Это, говорит, пустяки одни, не в этом дело». – «А как же, говорю, жить-то надо?» Вижу я: она хоть баба, да с толком; не скажет ли мне чего путного? «Ты, спрашивает, грамотный ли?» – «Маленечко, мол, учился». – «Какая, говорит, большая заповедь в Евангелии?» – «Большая, мол, заповедь – любовь!» – «Ну, верно. А еще сказано: больше той любви не бывает, если кто душу готов отдать за други своя! Вот тут и весь закон. Да еще ум, говорит, нужен – значит, рассудить: где польза, а где пользы нету. А персты эти да табак там – это одна наружность...» – «Ну, правда твоя, отвечаю. А все же и строгости маленько не мешает, чтобы человек во всякое время помнил».

Ну, разговариваем этак, едем себе не торопясь. К тайге подъехали, к речушке. Перевоз тут. Речка в малую воду узенькая: паром толканешь, он уж и на другой стороне. Перевозчиков и не надо. Ребятки проснулись, продрали глазенки-то, глядят: ночь ночью. Лес это шумит,

звезды на небе, луна только перед светом подымается... Ребятам-то и любо... Известное дело – несмысли!

Ну, только, братец, въехали в тайгу – меня точно по сердцу-то холодом обмахнуло. Гляжу: впереди по тропочке ровно бы кто на вершной бежит. Явственно-то не видно, а так кажется, будто серый конек Безрукого, и топоток слышно. Упало у меня сердце: что, мол, это такое будет? Зачем старик сюда выехал? Да еще клятву мне напомнил ранее... Не к добру... Задумался я... Страх перед стариком разбирает. Прежде я любил его, а с этого вечера бояться стал; как вспомню, какие глаза у него были, так дрожь и пройдет, и пройдет по телу.

Примолк я; думать ничего не думаю, и не слышу ничего. Барыня моя слово-другое скажет – я все молчу. Стихла и она, бедная... Сидит...

Место пошло узкое, темное место. Тайга самая злющая, чернь. А на душе у меня тоже темно, просто сказать – чернее ночи. Сижусь сам не свой. Кони дорогу знают, бегут к Камню этому – я не правлю. Подъезжаем – так и есть... Стоит на дороге серый конек, старик на нем сидит, глаза у него – веришь ли богу – как угли... Я и вожжи-то выпустил из рук. Кони вплоть подъехали к серому, стали сами собой. «Федор! – старик говорит, – сойди-ка наземь!» Сошел я с козел, послушался его, он тоже с седла слезает. Конька-то своего серого поперек дороги перед тройкой поставил. Стоят мои кони, ни один не шелохнется. Я тоже стою, как околдованный. Подошел он ко мне, говорит что-то, за руку взял, ведет к кошовке. Гляжу: в руке у меня топор!..

Иду за ним... и слов у меня супротив его, душегуба, нету, и сил моих нету противиться. «Согреши, говорит, познаешь сладость покаяния...» Больше не помню. Подошли мы вплоть к кошовушке... Он стал обок. «Начинай, – говорит. – Сначала бабу-то по лбу!» Глянул я тут в кошовку... Господи боже! Барыня-то моя сидит, как голубка ушибленная, ребяток руками кроет, сама на меня большими глазами смотрит. Сердце у меня повернулось... Ребятки тоже проснулись, глядят, точно пташки. Понимают ли, нет ли...

И точно я с этого взгляду от сна какого прокинулся. Отвел глаза, подымаю топор... А самому страшно: сердце закипает. Посмотрел я на Безрукого, дрогнул он... Понял. Посмотрел я в другой раз: глаза у него зеленые, так и бегают. Поднялась у меня рука, размахнулась... состонать не успел старик, повалился мне в ноги, а я его, братец, мертвого... ногами... Сам зверем стал, прости меня, господи боже!..

Рассказчик тяжело перевел дух.

– Что же после? – спросил я, видя, что он замолк и задумался.

– Ась? – откликнулся он. – Да после-то? Очнулся я, смотрю: скачет к нам Иван Захаров на вершной, в руках ружье держит. Подскакал вплоть; я к нему... Лежать бы и ему рядом с Безруким, уж это верно, да спасибо, сам догадался. Как глянул на меня – повернул коня да давай его ружейным прикладом по бокам нахлестывать. Тут у него меринка человеческим голосом взвыл, право, да как взовьется, что твоя птица!

Опомнился я вовсе... Не гляжу на людей... Сел на козлы, коней хлестнул... ни с места. Глядь, а серый конек все поперек дороги стоит. Я про него и забыл. Вот ведь, дьявол, как был приучен! Перекрестился я. Видно, думаю, и животину дьявольскую тут же уложить придется. Подошел к коньку: стоит он, только ухмыляется. Дернул я за повод, упирается. «Ну, говорю, выходи, барыня, из кошовки, как бы не разнесли кони-то с испугу, потому что он вплоть перед ними стоит». Барыня, что твой ребенок послушный, выходит... Ребята повылезли, к матери жмутся. Страшно и им, потому место глухое, темное, а тут еще я с дьяволами с этими вожжась.

Спят я свою тройку, взял топор в руки, подхожу к серому. «Иди, говорю, с дороги – убью!» Повел он ухом одним. Не иду, мол. Ах ты! Потемнело у меня в глазах, волосы под шапкой так и встают... Размахнулся изо всех сил, бряк его по лбу... Скричал он легонько, да и свалился, протянул ноги... Взял я его за ноги, сволок к хозяину и положил рядом, обок дороги. Лежите!..

«Садитесь!» – говорю барыне. Посадила она младших-то ребят, а старшенького-то не сдюжает... «Помоги», – говорит. Подошел я; мальчонко-то руки ко мне тянет. Только хотел я взять его, да вдруг вспомнил... «Убери, говорю, ребенка-то подальше. Весь я в крови, негоже младенцу касаться...»

Кое-как уселюсь. Тронул я... Храпят мои кони, не идут... Что тут делать?... «Посади-ко, – говорю опять, – младенца на козлы». Посадила она мальчонку, держит его руками. Хлестнул я вожжой – пошли, так и несутся... Вот как теперь же, сам ты видел. От крови бегут...

Наутро доставил я барыню в управу, в село. Сам повинился. «Берите меня, я человека убил». Барыня рассказывает все, как было. «Он меня спас», – говорит. Связали меня. Уж плакала она, бедная. «За что же, говорит, вы его вяжете? Он доброе дело сделал, моих ребят от злодеев защитил». Видит, что никто на ее слова внимания не берет, кинулась ко мне, давай развязывать сама. Тут уж я ее остановил... «Брось, говорю, не твое дело. Теперь уж дело-то людское да божье. Виноват ли я, прав ли, – рассудит бог да добрые люди...» – «Да какая же, говорит, может быть вина твоя?» – «Гордость моя, отвечаю. Через гордость я и к злодеям этим попал самовольно. От миру отбилсь, людей не слушался, все своим советом поступал. Ан вот он, свой-то совет, и довел до душегубства...»

Ну, отступилась, послушалась меня. Стала уезжать, подошла ко мне прощаться, обняла... «Бедный ты!..» Ребяток обнимать заставляет. «Что ты? – говорю. – Не скверни младенцев. Душегуб ведь я...» Опасался, признаться, что детки и сами греха моего заботятся. Да нет, поднесла она маленьких, старшенький сам подошел. Как обвился мальчонко вокруг шеи моей ручками – не выдержал я, заревел. Слезы так и бегут. Добрая же душа у бабы этой!.. Может, за ее добрую душу и с меня господь греха моего не взыщет...

«Если, – говорит она, – есть на свете сколько-нибудь правды, мы ее для тебя добудем. Век тебя не забуду!» И точно не забыла. Сам знаешь суды-то наши... волокита одна. Держали бы меня в остроге и по сию пору, да уж она с мужем меня бумагами оттуда добыли.

«А все-таки держали в остроге?»

«Держали, и даже порядочное время. Главная причина – через деньги. Послала мне барыня денег полтысячи и письмо мне с мужем написала. Как пришли деньги эти, и сейчас мое дело зашевелилось. Приезжает заседатель, вызвал меня в контору. «Ну, говорит, дело твое у меня. Много ли дашь, я тебя вовсе оправлю?»

Ах ты, думаю, твое благородие!.. За что деньги просит! Суди ты меня строго-настрога, да чтоб я твой закон видел, – я тебе в ноги поклонюсь. А он на-ко! – за деньги...

«Ничего, говорю, не дам. По закону судите, чему я теперича подвержен».

Смеется. «Дурак ты, я вижу, говорит. По закону твое дело в двух смыслах выходит. Закон на полке лежит, а я, между прочим, – власть. Куда захочу, туда тебя и суну».

«Это, мол, как же так выйдет?»

«А так, говорит. Глуп ты! Послушай вот: ты в этом разе барыню-то с ребятами защитил?»

«Ну, мол, что дальше-то?»

«Ну, защитил. Можно это к добродетели твоей приписать? Вполне, говорит, можно, потому что это доброе дело. Вот тебе один смысл».

«А другой, мол, какой будет?»

«Другой-то? А вот какой: посмотри ты на себя, какой ты есть детина. Вот супротив тебя старик – все одно как ребенок. Он тебя сомущать, а ты бы ему благородным манером ручки-то назад да к начальству. А ты, не говоря худого слова, бац!.. и свалил. Это надо приписать к твоему самоуправству, потому что этак не полагается. Понял?»

«Понял, говорю. Нет у вас правды! Кабы ты мне это без корысти объяснил... так ли, этак ли, – я б тебе в ноги поклонился. А ты вот что! Ничего тебе от меня не будет».

Осердился он.

«Хорошо же, мол. Я тебя, голубчика, пока еще суд да дело, в остроге сгною».

«Ладно, говорю, не грози».

Вот и стал он меня гноить, да, вишь ты, барыня-то не отступилась, нашла ходы. Пришла откуда-то такая бумага, что заседатель мой аж завертелся. Призвал меня в контору, кричал, кричал, а наконец того взял да в тот же день и отпустил. Вот и вышел я без суда... Сам теперь не знаю. Сказывают люди, будут и у нас суды правильные, вот я и жду: привел бы бог у присяжных судей обсудиться, как они скажут.

– А что же Иван-то Захаров?

– А Иван Захаров без вести пропал. У них, слышь, с Безруким-то уговор был: ехать Захарову за мной недалеко. Ежели, значит, я на душегубство согласия не дам, тут бы меня Захарову из ружья стрелять. Да, вишь, бог-то судил иначе... Прискакал к нам Захаров, а дело-то уж у меня кончено. Он и испужался. Сказывали люди опосля, что прибежал он тогда на заимку и сейчас стал из земли деньги свои копать. Выкопал, да как был, никому не сказавшись, – в тайгу... А на заре взяло заимку огнем. Сам ли как-нибудь заронил, а то, сказывают, Кузьма петуха пустил, неизвестно. Только как полыхнуло на зорьке, к вечеру угольки одни остались. Пошло все гнездо варваров прахом. Бабы и сейчас по миру ходят, а сын – на каторге. Откупиться-то стало уж нечем.

– Тпру, милые!.. Приехали, слышь, слава те, господи... Вишь ты, и солнышко божье как раз подымается.

IV. Сибирский вольтерианец

Прошло около месяца. Покончив с делами, я опять возвращался в губернский город на почтовых и около полудня приехал на N-скую станцию.

Толстый смотритель стоял на крылечке и дымил сигарой.

– Вам лошадей? – спросил он, не дав мне еще и поздороваться.

– Да, лошадей.

– Нет.

– Э, полноте, Василий Иванович! Я ведь вижу...

Действительно, под навесом стояла тройка в шлеях и хомутах.

Василий Иванович засмеялся.

– Нет, в самом деле, – сказал он затем серьезно. – Вам теперь, вероятно, не к спеху...

Пожалуйста, я вас прошу: погодите!

– Да зачем же? Уж не губернатора ли дожидаетесь?

– Губернатора! – засмеялся Василий Иванович. – Куда махнули! И всего-то надворного советника, да уж очень хочется мне этого парня уважить, право... Вы не обижайтесь, я и вам тоже всю душой. Но ведь я вижу: вам не к спеху, а тут, можно сказать, интерес гуманности, правосудия и даже спасения человечества.

– Да что у вас с правосудием тут? Какие дела завязались?

– А вот погодите, расскажу. Да что же вы здесь стоите? Заходите в мою хибарку.

Я согласился и последовал за Василием Ивановичем в его хибарку, где за чайным столом нас ждала уже его супруга, полная и чрезвычайно добродушная дама.

– Да, так вы насчет правосудия спрашивали? – заговорил опять Василий Иванович. – Вы фамилию Проскурова слышали?

– Нет, не слышал.

– Да и чего слышать-то, – вмешалась Матрена Ивановна. – Такой же вот озорник, как и мой, и даже в газетах строчит.

– Ну, уж это вы напрасно, вот уж напрасно! – горячо заговорил Василий Иванович. – Проскуров, матушка моя, человек благонадежный, на виду у начальства. Ты еще угоднику моему свечку должна поставить за то, что муж твой с такими лицами знакомство ведет. Ты что о Проскурове-то думаешь? Какого-нибудь шалопая сделают разве следователем по особо важным делам?

– Что вы это мелете? – вступился я. – Какие тут следователи, да еще по особо важным делам?

– То-то и я говорю, – ободрилась Матрена Ивановна, – врешь ты все, я вижу. Да что я-то, по-твоему, дура набитая, что ли? Неужто важные-то начальники такие бывают?

– Вот вы у меня Матрену Ивановну и смутили, – укоризненно покачал головой смотритель. – А ведь, в сущности, напрасно. Оно, конечно, по штату такой должности у нас не полагается, но если человек все-таки ее исполняет по особому, так сказать, доверию, то ведь это еще лучше.

– Ничего я тут не понимаю, – сказал я.

– То-то вот. Сами не понимаете, а женщину неопытную смутили! Ну, а слышали вы, что у нас есть тут компания одна, вроде как бы на акциях, которая ворочает всеми делами больших дорог и темных ночей?.. Неужели и этого не слышали?

– Да, слышал, конечно.

– Ну, то-то. Компания, так сказать, всесловная. Дело ведется на широкую ногу, под девизом: «Рука руку моет», и даже не чуждается некоторой гласности: по крайней мере, все отлично знают о существовании сего товарищества и даже лиц, в нем участвующих, – все,

кроме, конечно, превосходительного... Но вот недавно как-то, после одного блестящего дела, «самого» осенила внезапная мысль: надо, думает, «искоренить». Это, положим, бывало и прежде: искореняли сами себя члены компании, и все обходилось благополучно. Но на этот раз осенение вышло какое-то удивительное. Очень уж изволили осердиться, да и назначили своего чиновника особых поручений, Проскурова, следователем, с самыми широкими полномочиями по делам не только уже совершившимся, но и имеющим впредь совершиться, если в них можно подозревать связь с прежними.

– Что же тут удивительного?

– Оно, конечно, бог умудряет и младенцы. Человек-то попался честный и энергичный – вот что удивительно! Месяца три уж искореняет: поднял такую возню, не дай господи! Лошадей одних заездили около десятка.

– Что же тут хорошего, особенно для вас?

– Да ведь заездил-то не Проскуров... Этот ездит аккуратно. Земская полиция все за ним на обывательских гоняется. Соревнование, знаете. Стараются попасть ранее на место преступления... для пользы службы, конечно. Ну, да редко им удается. Проскуров у нас настоящий Лекок. Раз, правда, успели один кончик ловко у него из-под носу вытащить... Огорчили бедного до такой степени, что он даже в официальном рапорте забылся: «Старанием, говорит, земских властей приняты были все меры к успешному сокрытию следов преступления». Ха-ха-ха!

– То-то вот, – сказала Матрена Ивановна, – я и говорю: озорник. Одного с тобой поля ягода-то!..

– Ну уж не озорник, – возразил Василий Иванович. – Не-ет! А что раз промахнулся, так это и с серьезнейшими людьми бывает. Сам после увидал, что дал маху. Приступили к нему; пришлось бедняге оправдываться опиской... «На предбудущее время, – говорят ему, – таких описок не допускать, под опасением отставки по расстроенному здоровью». Чудак! Ха-ха-ха!

– Ну, а вы-то тут при чем? – спросил я.

Василий Иванович принял комически серьезный вид.

– А я, видите ли, содействую. У нас тут – спросите вот у Матрены Ивановны – настоящий заговор, тайное сообщество. Он искореняет, а я ему, знаете ли, лошадок всегда наготове держу. Взять хоть сегодня: там, где-то по тракту, убийство, и его человек к нему с известием поскакал. Ну, значит, и сам искоренитель скоро явится; вот у меня лошади в хомутах, да и на других станках просил приятелей приготовить. Вот оно и выходит, что на скромном смотрительском месте тоже можно человечеству оказывать немаловажные услуги, д-да-с...

Под конец этой тирады веселый смотритель опять не выдержал серьезного тона и захохотал.

– Погодите, – сказал я ему. – Вы смеетесь. Скажите-ка мне серьезно: сами-то вы верите в эту искоренительную миссию или только наблюдаете?

Василий Иванович крепко затянулся сигарой и замолчал.

– Представьте, – сказал он довольно серьезно, – ведь я еще сам не предлагал себе подобного вопроса. Погодите, дайте подумать... Да нет, какая к черту тут миссия! Загремит он скоро кверху тормашками, это верно. А тип, я вам скажу, интереснейший! Да вот вам пример: ведь оказывается, в сущности, что я в успех его дела не верю; иногда смешон мне этот искоренитель до последней крайности, а содействую, и даже, если хотите, Матрена Ивановна права: возбуждаю против себя «настоящее» начальство. Из-за чего? Да и я ли один? Везде у него есть свои люди... «сочувствующие». В этом его сила, конечно. Только... странно, что, кажется, никто в его успех не верит. Вот вы слышали: Матрена Ивановна говорит, что «настоящие начальники не такие бывают». Это отголоски общественного мнения. А между тем, пока этот младенец ломит вперед, высоко держа знамя, как говорится в газетах, всякий человек с капелькой души или просто лично не заинтересованный старается мимоходом столкнуть с его пути один, другой камешек, чтобы младенец не ушибся. Ну, да это, конечно, не поможет.

– Но почему? При сочувствии населения, в этом случае даже прямо заинтересованного?..

– То-то вот. Сочувствие это какое-то не вполне доброкачественное. Сами вы увидите, может быть, какое это чадо. Прет себе без всякой политики, и горюшка мало, что его бука съест. А сторонний человек смотрит и головой качает: съедят, мол, младенца ни за грош! Ну и жалко. «Погоди-ка, – говорит сторонний человек, – я вот тут тебе дорожку прочищу, а уж дальше съест тебя бука, как пить даст». А он идет, ничего! Поймите вы, что значит сочувствие, если нет веры в успех дела? Тут, мол, надо начальника настоящего, мудрого, яко змий, чтобы, знаете, этими обходцами ползать умел, величие бы являл, где надо, а где надо – и взяточкой бы не побрезгал, – без этого какой уж и начальник! Ну, тогда могла бы явиться и вера: этот, мол скрутит! Только... черт возьми! тогда не было бы сочувствия, потому что все дело объяснялось бы столкновением начальственных интересов... Вот тут и поди!.. Э-эх, сторона наша, сторонушка!.. Давайте-ка лучше чай пить!

Василий Иванович круто оборвал и повернулся на стуле.

– Наливай, Матренчик, чаю, – сказал он как-то мягко жене, слушавшей все время с большим интересом речи супруга. – А прежде, – обратился он ко мне, – не дернуть ли нам по первой?..

Василий Иванович и сам представлял тоже один из интереснейших типов, какие, кажется, встречаются только в Сибири; по крайней мере в одной Сибири вы найдете такого философа где-нибудь на почтовом станке, в должности смотрителя. Еще если бы Василий Иванович был из сосланных, то это было бы не удивительно. Здесь немало людей, которых колесо фортуны, низвергну с известной высоты, зашвырнуло в места отдаленные и которые здесь начинают вновь карабкаться со ступеньки на ступеньку, внося в эти низменные сферы не совсем обычные в них приемы, образование и культуру. Но Василий Иванович, наоборот, за свое вольнодумство спускался медленно, но верно, с верхних ступеней на нижние. Он относился к этому с спокойствием настоящего философа. Получив под какими-то педагогическими влияниями, тоже нередкими в этой ссыльной стране, с ранней юности вкусы и склонности интеллигентного человека, он дорожил ими всю жизнь, пренебрегая внешними удобствами. Кроме того, в нем сидел художник. Когда Василий Иванович бывал в ударе, его можно было заслушаться до того, что вы забывали и дорогу, и спешное дело. Он сыпал анекдотами, рассказами, картинами; перед вами проходила целая панорама чисто местных типов своеобразной и забытой реформой страны: все эти заседатели, голодные, беспокойно-юркие и алчные; исправники, отъевшиеся и начинающие ощущать удовольствие существования; горные исправники, находящиеся на вершинах благополучия; советники, старшие советники, чиновники всяких поручений... И над всем этим миром, знакомым Василию Ивановичу до мельчайших закоулков, царило благодушие и величие местных юпитеров, с демонстративно-помпадурской грозой и с младенчески наивным неведением страны, с кругозором петербургских департаментских канцелярий и властью могущественнейших сатрапов. И все это в рассказах Василия Ивановича освещалось тем особенным внутренним чувством, какое кладет истинный художник в изображение интересующего его предмета. А для Василия Ивановича его родина, которую он рисовал такими часто непривлекательными красками, составляла предмет глубоко интересный. Интеллигентный человек, в настоящем смысле этого слова, он с полным правом мог применить к себе стих поэта:

Люблю отчизну я, но странною любовью!

И он действительно любил ее, хоть эта плохо оцененная любовь и вела его к постепенной, как он выражался, деградации. Когда, после одного из крушений, вызванных его обличи-

тельным зудом, ему предложили порядочное место в России, он, немного подумав, ответил предлагавшему:

– Нет, батюшка, спасибо вам, но я не могу... Не могу-с! Что мне там делать? Все чужое. Помилюйте, да мне и выругать-то там будет некого.

Вообще, когда мне приходится слышать или читать сравнение Сибири с дореформенной Россией – сравнение, которое одно время было в таком ходу, – мне всегда приходит на ум одно резкое различие. Различие это воплощается в виде толстой фигуры моего юмориста-приятеля. Дело в том, что в дореформенной России не было соседства России же реформированной, а у Сибири есть это соседство, и оно порождает то ироническое отношение к своей родной действительности, которое вы можете встретить в Сибири даже у людей не особенно интеллигентных. Наш российский Сквозник-Дмухановский в простоте своей душевной непосредственности полагал, что «так уж самым богом установлено, и вольтерянцы напрасно против этого вооружаются». Сибирский же Сквозник видел упразднение своего русского прототипа, видел торжество вольтерянцев, и его непосредственность давно уже утрачена. Он рвет и мечет, но в свое провиденциальное назначение не верит. Пойдут одни веяния – он радуется; пойдут другие – он впадает в уныние и скрежещет. Правда, к отчаянию всегда примешивается частица надежды: авось и на этот раз пронесет еще мимо, зато и ко всякой надежде примешивается горькое сомнение: надолго ли? Ибо «рубят лес за Уралом, а в Сибирь летят щепки». А тут еще в сторонке стоит свой родной «вольтерянец» во фризовой шинели и улыбается: что, мол, батюшка, покуда еще бог грехам терпит, ась? – да втихомолку строчит корреспонденции в российские бесцензурные издания.

– Кстати, – спросил у меня Василий Иванович, когда после чаю мы закурили сигары, продолжая свою беседу, – вы мне ведь еще не рассказали, что такое случилось с вами, тот раз, в логу?

Я рассказал все уже известное читателю.

Василий Иванович сидел задумчиво, рассматривая кончик нагоревшей сигары.

– Да, – сказал он, – странные люди...

– Вы их знали?

– Как вам сказать? Ну, встречал, и беседовал, и чай, вот как с вами, пивал. А знать... ну нет! Заседателей вот или исправников, быть может по родственности духа, насквозь вижу, а этих понять не могу. Одно только знаю твердо: несдобровать этому Силину – не теперь, так после покончат с ним непременно.

– Почему вы думаете?

– Да как же иначе? Происшествие с вами уже не первое. Во всех подобных опасных случаях, когда ни один ямщик не решится везти, обращаются к этому молодцу, и он никогда не откажется. И заметьте: никогда он не берет с собой никакого оружия. Правда, он всем импонирует. С тех пор как он уложил Безрукого, его сопровождает какое-то странное обаяние, и он сам, кажется, тоже ему поддается. Но ведь это иллюзия. Поговаривают уж тут разные ребятки: «Убивца, мол, хоть заговоренною пулей, а все же взять можно...» Кажется, упорство, с каким этот Константин производит по нем свои выстрелы, объясняется именно тем, что он запасся такими заговоренными пулями.

V. Искоренитель

Василий Иванович насторожил, среди разговора, свои привычные уши.

– Погодите-ка, – сказал он, – кажется, колокольчик... Должно быть, Проскуров.

И при этом имени Василия Ивановича, очевидно, вновь обуюла его смешливая веселость. Он быстро подбежал к окну.

– Ну, так и есть. Катит наш искоренитель. Посмотрите-ка, посмотрите: ведь это картина. Ха-ха-ха!.. Вот всегда этак ездит. Аккуратнейший мужчина!

Я подошел к окну. Звон колокольчика быстро приближался, но сначала мне видно было только облако пыли, выкатившееся как будто из лесу и бежавшее по дороге к стану. Но вот дорога, пролегавшая под горой, круто свернула к станции, и в этом месте мы могли видеть ехавших – прямо и очень близко под нами.

Почтовая тройка быстро мчала легонькую таратайку. Из-под копыт разгорячившихся коней летел брызгами щебень и мелкая каменная пыль, но ямщик, наклонившись с облучка, еще погонял и покрикивал. За ямщиком виднелась фигура в форменной фуражке с кокардой и штатском пальто. Хотя на ухабистой дороге таратайку то и дело трясло и подкидывало самым жестоким образом, но господин с кокардой не обращал на это ни малейшего внимания. Он тоже перегнулся, стоя, через облучок и, по-видимому, тщательно следил за каждым движением каждой лошади, контролируя их и следя, чтобы ни одна не отставала. По временам он указывал ямщику, какую, по его мнению, следует подхлестнуть, иногда даже брал у него кнут и старательно, хоть и неумело, подхлестывал сам. От этого занятия, поглощавшего все его внимание, он изредка только отрывался, чтобы взглянуть на часы.

Василий Иванович все время, пока тройка неслась в гору, хохотал, как сумасшедший; но когда колокольчик, забившись отчаянно перед самым крыльцом, вдруг смолк, смотритель сидел уже на кушетке и как ни в чем не бывало курил свою сигару.

Несколько секунд со двора слышно было только, как дышат усталые лошади. Но вдруг наша дверь отворилась, и в комнату вбежал новоприезжий. Это был господин лет тридцати пяти, небольшого роста, с несоразмерно большой головой. Широкое лицо, с выдававшимися несколько скулами, прямыми бровями, слегка вздернутым носом и тонко очерченными губами, было почти прямоугольно и дышало своеобразною энергией. Большие серые глаза смотрели в упор. Вообще физиономия Проскурова на первый взгляд поражала серьезностью выражения, но впечатление это, после нескольких мгновений, как-то стиралось. Аккуратные чиновничьи «котлетки», обрамлявшие гладко выбритые щеки, пробор на подбородке, какая-то странная торопливость движений тотчас же примешивали к первому впечатлению комизм, который только усиливался от контрастов, совмещавшихся в этой своеобразной фигуре.

Войдя в комнату, Проскуров сначала на мгновение остановился, потом быстро окинул ее взглядом и, увидев Василия Ивановича, тотчас же устремился к нему.

– Господин смотритель!.. Василий Иванович, голубчик... лошадей!.. Лошадей мне, милостивый государь, ради бога, поскорее!

Василий Иванович, развалясь на кушетке, хранил холодно-дипломатический вид.

– Не могу-с... Да вам, кажется, почтовых и не полагается, а земские нужны под заседателя – он скоро будет.

Проскуров сначала горестно изумился, потом вдруг вспыхнул.

– Что вы, что вы это? Ведь я прибыл раньше. Нет, позвольте-с... Во-первых, ошибаетесь и насчет почтовых: у меня на всякий случай подорожная... Но, кроме того, на законном основании...

Но Василий Иванович уже смеялся.

– А, черт возьми! Вечно вы с вашими шутками, а мне некогда! – досадливо сказал Проскуров, очевидно, не в первый раз попадавший в эту ловушку. – Скорее, бога ради, у меня тут дело!

– Знаю, убийство...

– Да вы почему знаете? – встревожился Проскуров.

– «Почему знаете!» – передразнил смотритель. – Да ведь заседатель-то уж там. От него слышал.

– Э, врете вы опять, – просиял Проскуров, – *они-то* еще и ухом не повели, а уж у моих, знаете ли, и виновный, то есть, собственно... правильнее сказать – подозреваемый, в руках.

Это, батюшка, такое дельце выйдет... громчайшее!.. Вот вы посмотрите, как я их тут всех ковырну!

– Ну, уж вы-то ковырнете! Смотрите, не ковырнули бы вас.

Проскуров вдруг встрепенулся. Во дворе забрякали колокольцы.

– Василий Иванович, – заговорил он вдруг каким-то заискивающим тоном, – там, я слышу, запрягают. Это мне, что ли?

При этом он схватил зрителя за руку и бросил тревожный взгляд в мою сторону.

– Ну, вам, вам... успокойтесь! Да что у вас там в самом-то деле?

– Убийство, батюшка! Опять убийство... Да еще какое! С явными признаками деятельности известной вам шайки. У меня тут нити. Если не ошибаюсь, тут несколько таких хвостиков прищепить можно... Ах, ради бога, поскорее!..

– Сейчас. Да где же это случилось?

– Все в этом же логу проклятом. Взорвать бы это место порохом, право! Ямщика убили...

– Что такое? Уж не ограбление ли почты?

– Э, нет, вольного.

– Убивца? – вскрикнул я, пораженный внезапною догадкой.

Проскуров обернулся ко мне и впился в мое лицо своими большими глазами.

– Д-действительно-с... убитого так звали. А позвольте спросить: почему это вас так интересует?

– Гм... – промычал Василий Иванович, и в глазах его забегали веселые огоньки. – Допросите-ка его, хорошенько допросите!

– Я встречался с ним ранее.

– Та-ак-с!.. – протянул Василий Иванович. – Встреча-лись... А не было ли у вас вражды или соперничества, не ожидали ли по покойном наследства?

– Да ну вас, с вашими шутками! Что за несносный человек! – досадливо отмахнулся опять Проскуров и обратился ко мне.

– Извините, милостивый государь, собственно, я вовсе не имел в виду привлечь вас к делу, но вы понимаете... интересы, так сказать...

– Правосудия и законности, – ввернул опять неисправимый зритель.

– Одним словом, – продолжал Проскуров, бросив на Василия Ивановича подавляющий взгляд, – я хотел сказать, что внимание к интересам правосудия обязательно для всякого, так сказать, гражданина. И если вы можете сообщить какие-либо сведения, идущие к делу, то... вы понимаете... одним словом, обязаны это сделать.

У меня мелькнуло вдруг смутное соображение.

– Не знаю, – ответил я, – насколько могут способствовать раскрытию дела те сведения, какие я могу доставить. Но я рад бы был, если б они оказались полезны.

– Превосходно! Подобная готовность делает вам честь, милостивый государь. Позвольте узнать, с кем имею удовольствие?..

Я назвал.

– Афанасий Иванович Проскуров, – отрекомендовался он в свою очередь. – Вы вот изъявили сейчас готовность содействовать правосудию. Так вот, видите ли, чтоб уж не делать дело вполовину, не согласитесь ли вы, милостивый государь... одним словом... ехать теперь же со мною?

Василий Иванович захохотал.

– Н-ну, уж это... я вам скажу... Это черт знает что такое! Да вы что, арестовать его, что ли, намерены?

Проскуров быстро и как будто сконфуженно схватил мою руку.

– Не думайте, пожалуйста, – заговорил он. – Помилуйте, какие же основания?..

Я поспешил его успокоить, что мне вовсе не приходило в голову ничего подобного.

– Да и Василий Иванович, конечно, шутит, – добавил я.

– Я рад, что вы меня понимаете. Мне время дорого! Тут всего, знаете ли, два перегона. Дорогой вы мне сообщите, что вам известно. Да, кстати же, я без письмоводителя.

Я не имел причины отказаться.

– Напротив, – сказал я Проскурову, – я сам хотел просить вас взять меня с собою, так как меня лично крайне интересует это дело.

Передо мной, точно живой, встал образ убийцы, с угрюмыми чертами, со страдальческою складкой между бровей, с затаенною думой в глазах. «Скликает воронья на мою головушку, проклятый!» – вспомнилось мне его тоскливое предчувствие. Сердце у меня сжалось. Теперь это воронье кружилось над его угасшими очами в темном лого, и прежде уже омрачившем его чистую жизнь своею зловещею тенью.

– Эге-ге! – закричал вдруг Василий Иванович, внимательно вглядываясь в окно. – Афанасий Иванович, не можете ли сказать, кто это едет вон там под самым лесом?

Проскуров только взглянул в окно и тотчас же кинулся к выходу.

– Поскорей, ради бога, – кинул он мне на ходу, хватая со стола фуражку.

Я тоже наскоро собрался и вышел. В ту же минуту к ступеням крыльца подкатила ретивая тройка.

Взглянув в сторону леса, я увидел вдали быстро приближавшуюся повозку. Седок приставал иногда и что-то делал над спиной ямщика; виднелись поднимаемые и опускаемые руки. Косвенные лучи вечернего солнца переливались слабыми искорками в пуговицах и погонах.

Проскуров расплачивался с привезшим его ямщиком. Парень осклабился с довольным видом.

– Много довольны, ваше благородие...

– Сказал товарищу, вот ему? – ткнул Проскуров в нового ямщика.

– Знаем, – ответил тот.

– Ну, смотри, – сказал следователь, усаживаясь в повозку. – Приедешь в полтора часа – получишь рубль, а минутой – понимаешь? – одной только минутой позже...

Тут лошади подхватили с места, и Проскуров поперхнулся, не dokonчив начатой фразы.

VI. Евсеич

До Б. было верст двадцать. Проскуров сначала все посматривал на часы, сличая расстояние, и по временам тревожно озирался назад. Убедившись, что тройка мчится лихо и погони сзади не видно, он обратился ко мне:

– Ну-с, милостивый государь, что же, собственно, вам известно по этому делу?

Я рассказал о своем приключении в логу, о предчувствии ямщика, об угрозе, которую послал ему один из грабителей, как мне казалось – купец. Проскуров не проронил ни одного слова.

– Д-да, – сказал он, когда я кончил. – Все это будет иметь свое значение. Ну-с, а помните ли вы лица этих людей?

– Да, за исключением разве купца.

Проскуров бросил на меня взгляд, исполненный глубокой укоризны.

– Ах, боже мой! – воскликнул он, и в тоне его слышалась горечь разочарования. – Гм... Конечно, вы не виноваты, но его-то именно вам следовало заметить. Жаль, очень жаль... Ну, да все же он не избегнет правосудия.

Менее чем в полтора часа мы были уже на стане. Распорядившись, чтобы поскорей запрягли, Проскуров приказал позвать к себе сотского.

Тотчас же явился мужичок небольшого роста, с жидкой бородкой и плутоватыми глазами. Выражение лица представляло характерную смесь добродушия и лукавства, но, в общем, впечатление от этой фигуры было приятное и располагало в пользу ее обладателя. Худой зипунишко и вообще рваная, убогая одежонка не обличали особенного достатка. Войдя в избу, он поклонился, потом выглянул за дверь, как бы желая убедиться, что никто не подслушивает, и затем подошел ближе. Казалось, в сообществе с Проскуровым он чувствовал себя не совсем ловко и даже как будто в опасности.

– Здравствуй, здравствуй, Евсеич, – сказал чиновник радушно. – Ну что? Птица-то у нас не улетела?

– Пошто улетит? – сказал Евсеич, переминаясь. – Сторожим тоже.

– Пробовал ты с ним заговаривать?... Что говорит?

– Пробовал-то пробовал, да, вишь, он разговаривать-то не больно охоч. Перво я к нему было добром, а опосля, признаться, пострадал-таки маленько! «Что, мол, такой-сякой, лежишь, ровно статуи? Знаешь, мол, кто я по здешнему месту?» – «А кто?» – спрашивает. – «Да начальство, мол, вот кто... сотский!» – «Этаких, говорит, начальствов мы по морде бивали...» Что ты с ним поделаешь? Отчаянный!.. Известно, жиган!

– Ну, хорошо, хорошо! – перебил нетерпеливо Проскуров. – Сторожите хорошенько. Я скоро вернусь.

– Не убеет. Да ён, ваше благородие, – надо правду говорить – смирной... Кою пору все только лежит да в потолок смотрит. Дрыхнет ли, так ли отлеживается – шут его знает... Раз только и вставал-то: поесть бы, сказывает, охота. Покормил я его маленько, попросил он еще табачку на цигарку да опять и залег.

– Ну и отлично, братец. Я на тебя надеюсь. Если приедет фельдшер, посылай на место.

– Будьте благонадежны. А что я хотел спросить, ваше благородие...

Евсеич опять подошел к двери и выглянул в сени.

– Ну, что еще? – спросил Проскуров, направлявшийся было к выходу.

– Да, значит, теперича так мы мекаем, – начал Евсеич, политично переминаясь и искося посматривая на меня, – теперича ежели мужикам на *них* налегнуть, так в самую бы пору... Миром, значит, или бы сказать: скопом.

– Ну? – сказал Проскуров и нагнул голову, чтобы лучше вслушаться в бессвязное объяснение мужика.

– Да как же, ваше благородие, сами судите! Терпеть не можно стало; ведь беспокойство! Какую теперича силу взяли, и все нипочем... Теперича хоть бы самый этот жиган... Он что такое? Можно сказать – купленный человек; больше ничего, что за деньги... Не он, так другой...

– Справедливо, – поощрил Проскуров, очевидно, сильно заинтересованный. – Ну, продолжай, братец. Ты, я вижу, мужик с головой. Что же дальше?

– Ну, больше ничего, что ежели теперича мужики видели бы себе подмогу... мы бы, может, супротив *их* осмелились... Мало ли теперича за ними качеств? Мир – великое дело.

– Что ж, помогите вы правосудию, и правосудие вам поможет, – сказал Проскуров без важности.

– Известно, – произнес Евсеич задумчиво. – Ну, только опять так мы, значит, промежду себя мекаем: ежели, мол, теперича вам, ваше благородие, супротив начальников не выстоять будет, тут мы должны вовсе пропасть и с ребятами. Потому – ихняя сила...

Проскуров вздрогнул, точно по нем пробежала электрическая искра, и, быстро схватив фуражку, выбежал вон. Я последовал за ним, оставив Евсеича в той же недоумевающей позе. Он разводил руками и что-то бормотал про себя.

А Проскуров садился в повозку в полном негодовании.

– Вот так всегда! – говорил он. – Все компромиссы, всюду компромиссы... Обеспечь им успех, тогда они согласны оказать поддержку правосудию... Что вы на это скажете? Ведь это... это-с – разврат, наконец... Отсутствие сознания долга.

– Если уж вы обратились ко мне с этим вопросом, – сказал я, – то я позволю себе не согласиться с вами. Мне кажется, они вправе требовать от «власти» гарантии успеха правого дела *на легальном пути*. Иначе в чем же состоит самая идея власти?.. Не думаете ли вы, что раз миру воспрещен самосуд, то тем самым взяты известные обязательства? И если они не исполняются, то...

Проскуров живо повернулся в мою сторону и, по-видимому, хотел что-то сказать, но не сказал ничего и глубоко задумался.

Мы отъехали верст шесть, и до лога оставалось не более трех, когда сзади послышался колокольчик.

– Ага! – сказал Проскуров. – Едет без перепряжки. Ну, да тем лучше: не успеет повидаться с арестованным. Я так и думал.

VII. Заседатель

Солнце задело багряным краем за черту горизонта, когда мы подъехали к логу. Свету было еще достаточно, хотя в логу залегали уже густые вечерние мороки. Было прохладно и тихо. Камень молчаливо стоял над туманами, и над ним подымался полный, хотя еще бледный, месяц. Черная тайга, точно заклятая, дремала недвижимо, не шелохнув ни одной веткой. Тишина нарушалась только звоном колокольчиков, который гулко носился в воздухе, отдаваемый эхом ущелья. Сзади слышался такой же звон, только послабее.

У кустов курился дымок. Караульные крестьяне сидели вокруг костра в угрюмом молчании. Увидев нас, они встали и сняли шапки. В сторонке, под холщовым покрывалом, лежало мертвое тело.

– Здравствуйте, братцы! – сказал следователь тихо.

– Здорово, ваше благородие! – отвечали крестьяне.

– Ничего не трогали с места?

– Ничего, будто... *Ego* маленько обрядили: не хорошо, значит... Скотину не тронули.

– Какую скотину?

– Да ведь как же: пегашку-то пристрелили же варвары... На вершней покойник-то возвращался.

Действительно, в саженьях тридцати, у дороги, виднелась убитая лошадь.

Проскуров занялся осмотром местности, пригласив с собою и караульных. Я подошел к покойнику и поднял полог с лица.

Мертвенно-бледные черты были спокойны. Потускневшие глаза смотрели вверх, на вечернее небо, и на лице виднелось то особенное выражение недоумения и как будто вопроса, которое смерть оставляет иногда как последнее движение улетающей жизни... Лицо было чисто, не запятнано кровью.

Через четверть часа Проскуров с крестьянами прошел мимо меня, направляясь к перекрестку. Навстречу им подъезжала задняя повозка.

Из нее вышел немолодой мужчина в полицейской форме и молодой штатский господин, оказавшийся фельдшером.

Заседатель, видимо, сильно устал. Его широкая грудь работала, как кузнечные мехи, и все тучное тело ходило ходуном под короткою форменною шинелью довольно изящного покроя. Щеки тоже вздувались и опадали, причем нафабранные большие усы то подымались концами и становились перпендикулярно, то опять припадали к ушам. Большие, сероватые с проседью и курчавые волосы были покрыты пылью.

– У-уф, – заговорил он, пыхтя и отдуваясь. – За вами, Афанасий Иванович, не поспеешь. Здравствуйте!

– Мое почтение, – ответил Проскуров холодно. – И напрасно изволили торопиться. Я мог бы и обождать.

– Нет, зачем же-с?... У-уф!... Служба прежде всего-с... Не люблю, знаете ли, когда меня дожидаются. Не в моих правилах-с.

Заседатель говорил сиплым армейским басом, при звуках которого невольно вспоминается запах рому и жуковского табаку. Глаза его, маленькие, полинявшие, но все еще довольно живые и бойкие, бегали между тем по сторонам, тревожно исследуя обстановку. Они остановились на мне.

– Это мой знакомый, – отрекомендовал меня Проскуров, – господин NN, временно исполняющий обязанности моего письмоводителя.

– Имел удовольствие слышать-с. Очень приятно-с. Отставной штабс-капитан Безрылов. Безрылов поднес руку к козырьку и молодцевато щелкнул шпорами.

– Отлично-с. Теперь мы можем приступить к исследованию. Отделаем по-военному, живо, пока еще засветло. Эй, понятые, сюда!..

Караульные крестьяне приблизились к начальству и все вместе двинулись к мертвому телу. Первым подошел очень развязно Безрылов и сразу отдернул весь полог.

Мы все отшатнулись при виде открывшейся при этом картины. Вся грудь убитого представляла одну зияющую рану, прорезанную и истыканную в разных направлениях. Невольный ужас охватывал душу при виде этих следов исступленного зверства. Каждая рана была бы смертельна, но было очевидно, что большинство из них нанесены мертвому.

Даже господин Безрылов потерял всю свою развязность. Он стоял неподвижно, держа в руке конец полога. Его щеки побагровели, а концы усов угрожающе торчали, как два копыя.

– Ррак-ка-льи! – произнес он наконец и как-то глубоко вздохнул.

Быть может, в этом вздохе сказалось сожаление о том, что для господина Безрылова нет уже возврата с пути укрывательства и потачек.

Он тихо закрыл полог и обратился к Проскурову, который между тем устоялся на него своими упорными глазами.

– Пожалуйста, – попросил заседатель, опуская глаза, – опишем при вскрытии, завтра... Теперь исследуем обстановку и перенесем тело в Б.

– А там произведем допрос арестованному по этому делу, – сказал Проскуров жестко.

Глаза Безрылова забежали, как два затравленные зверька.

– Арестованному? – переспросил он. – У вас есть уже и арестованный?.. Как же мне... как же я ничего не знал об этом?

Он был жалок, но тотчас же попытался оправиться. Кинув быстрый, враждебный взгляд на крестьян и на своего ямщика, он обратился опять к Проскурову:

– Вот и отлично-с. У вас дело кипит в руках... зам-мечательно...

VIII. Иван тридцати восьми лет

Около полуночи, отдохнув несколько и напившись чаю, чиновники приступили к следствию.

В довольно просторной комнате, за столом, уставленным письменными принадлежностями, поместился посередине Проскуров. Его несколько комичная подвижность исчезла; он стал серьезен и важен. Справа уселся Безрылов, успевший совершенно оправиться и вновь приобретший свою армейскую развязность. Во время короткого роздыха он умылся, нафабрил усы и взбил свои седоватые кудри. Вообще, Безрылов стал бодр и великолепен. Похлебывая густой чай из стоявшего перед ним стакана, он посматривал на следователя с снисходительной улыбкой. Я уселся на другом конце стола.

– Прикажете ввести арестованного, – сказал Проскуров, подымая глаза от листа бумаги, на котором он быстро писал форму допроса.

Безрылов кивнул только головой, и Евсеич бросился вон из избы.

Через минуту входная дверь отворилась, и в ней резко обрисовалась высокая фигура того самого мужчины, которого я видел с Ко`стюшкой на перевозе задумчиво следящим за облаками.

Входя в комнату, он слегка запнулся за порог, оглядел то место, за которое задел, потом вышел на середину и остановился. Его походка была ровна и спокойна. Широкое лицо, с грубоватыми, но довольно правильными чертами, выражало полное равнодушие. Голубые глаза были несколько тусклы и неопределенно смотрели вперед, как будто не видя ближайших предметов. Волосы подстрижены в скобку. На новой ситцевой рубаше виднелись следы крови.

Проскуров передал мне «форму» и, подвинув перо и чернильницу, приступил к обычному опросу.

– Как зовут?

– Иван тридцати восьми лет.

– Где имеете место жительства?

– Без приюту... в бродяжестве...

– Скажите, Иван тридцати восьми лет, вами ли совершено сего числа убийство ямщика Федора Михайлова?

– Так точно, ваше благородие, моя работа... Что уж, видимое дело...

– Молодец! – одобрил бродягу Безрылов.

– Что ж, ваше благородие, зачем чинить напрасную проволочку?.. Не отопрешься.

– А по чьему научению или подговору? – продолжал следователь, когда первые ответы были записаны. – И откуда у вас те пятьдесят рублей тридцать две копейки, которые найдены при обыске?

Бродяга вскинул на него своими задумчивыми глазами.

– Ну, уж это, – ответил он, – ты, ваше благородие, лучше оставь! Ты свое дело знаешь – ну, и я свое тоже знаю... Сам по себе работал, больше ничего... Я, да темная ночь, да тайга-матушка – сам-третей!..

Безрылов крякнул и с наслаждением отхлебнул сразу полстакана, кидая на Проскурова насмешливый взгляд. Затем он опять устался на бродягу, видимо любясь его образцовой тюремной выправкой, как любитесь служака-офицер на бравого солдата.

Проскуров оставался спокоен. Видно было, что он и не особенно рассчитывал на откровенность бродяги.

– Ну, а не желаете ли сказать, – продолжал он свой допрос, – почему вы так зверски изрезали убитого вами Федора Михайлова? Вы имели против покойного личную вражду или ненависть?

Допрашиваемый смотрел на следователя с недоумением.

– Пырнул я его ножиком раз и другой... Более, кажись, не было... Свалился он...

– Десятник, – обратился Проскуров к крестьянину, – возьмите свечу и посветите арестанту. А вы взгляните в ту комнату.

Бродяга все тою же ровною походкой подошел к двери и остановился. Крестьянин, взяв со стола одну свечу, вошел в соседнюю горницу.

Вдруг жиган вздрогнул и отшатнулся. Потом, взглянув с видимым усилием еще раз в том же направлении, он отошел к противоположной стене. Мы все следили за ним в сильнейшем волнении, которое как будто передавалось нам от этой мощной, но теперь сломленной и подавленной фигуры.

Он был бледен. Некоторое время он стоял, опустив голову и опершись плечом о стену. Потом он поднял голову и посмотрел на нас смутным и недоумевающим взглядом.

– Ваше благородие... хрестьяне православные, – заговорил он умоляющим тоном, – не делал я этого. Верьте совести – не делал!.. Со страху нешто, не помню... Да нет, не может этого быть...

Вдруг он оживился. Глаза его в первый раз сверкнули.

– Ваше благородие, – заговорил он решительно, подходя к столу, – пишите: Ко`стюшка это сделал – Костинкин – рваная ноздря!.. Он, бесприменно он, подлец!.. Никто, как он, человека этак испакостил. Его дело... Все одно: товарищ, не товарищ – знать не хочу!.. Пишите, ваше благородие!..

При этой неожиданной вспышке откровенности Проскуров быстро выхватил у меня перо и бумагу и приготовился записывать сам. Бродяга тяжело и как будто с усилием стал развешивать перед нами мрачную драму.

Он бежал из N-ского острога, где содержался за бродяжество, и некоторое время слонялся без дела, пока судьба не столкнула его в одном заведении с Ко`стюшкой и его товарищами. Тут в первый раз услышал он разговор про покойного Михалыча: «Убивец, мол, такой человек, его ничем не возьмешь: ни ножом, ни пулей, потому заколдован». – «Пустое дело, господа, – я говорю, – не может этого быть. Всякого человека железом возьмешь». – «А вы, спрашивают, кто такие будете, какого роду-племени?» – «А это, говорю, дело мое. Острог – мне батюшка, а тайга – моя матушка. Тут и род, тут и племя, а что не люблю слушать, когда, например, пустяки этакие говорят... вот что!» Ну, слово за слово, разговорились, приняли они меня в компанию свою, полуштоф поставили, потом Костинкин и говорит: «Ежели вы, говорит, человек благонадежный, то не желаете ли с нами на *фарт*³ идти?» – «Пойду», – говорю. «Ладно, мол, нам человек нужен. Днем ли, ночью ли, а уж в логу бесприменно дело сделать надо, потому что капиталы повезет тут господин из города большие. Только смотри, говорит, не хвастаешь ли? Ежели с другим ямщиком господин этот поедет, сделаем дело, раздуванием честь честью... Ну, а ежели убивец опять повезет, – мотри, убеgehь». «Не будет этого, говорю, чтоб я убег». – «Ну, ладно, мол, ежели имеешь в себе такой дух, то будешь счастливый человек – за убивца можешь себе награду получить большую!..»

– Награду? – переспросил Проскуров. – От кого же?

– Ты вот что, господин, – сказал бродяга, – ты слушай меня, пока я говорю, а спрашивать будешь после... Ну, признаться сказать, на первый-то раз убег я, испужался. Главная причина – товарищи выдали. Идет на нас Михалыч, стыдно сказать, с кнутиком, а Костинкин с ружьем в первую голову убежал. Ну, подался и я, сробел... Да он же, подлец, потом первый на смех меня поднял. Язвительный он, Костинкин то есть. «Ладно, говорю, идем опять. Да смотри, Костюша, убеgehь ежели – сам жив от меня не останешься!» Три дня мы в логу этом прожили – все его дожидались. На третий день приехал он под вечер: значит, ночью ему назад воротаться.

³ Фарт по-сибирски – удача, дело, обещающее выгоду.

Изготовились мы; слышим: едет тихонько на вершной. Выпалил Костинкин из ружья, пегашку свалил. Михалыч кинулся в кусты, как раз на меня... прямо... Стукнуло у меня сердце-то, признаться, да вижу – все одно, мол: либо он, либо я!.. Изловчился, хватить его ножиком, да плохо. Схватил он меня за руку, нож вырвал, самого – обзёмь. Силен был покойник. Подмял; гляжу – пояс снимает, хочет вязать. А у меня за голенищем другой ножик в запасе. Добыл я его тихонько, повернулся да опять его... под ребро... Состонал он, повернул меня лицом кверху, наклонился, посмотрел в глаза... «А! – говорит. – Чуюло мое сердце!.. Ну, теперь ступай с богом, не тирань. Убил ты меня до смерти...» Встал я, гляжу: мается он... хотел было подняться – не смог. «Прости меня», – говорю. «Ступай, – отвечает, – ступай себе... Бог простит ли, а я прощаю...» Я ушел и не подходил более, поверьте совести... Костинкин это, видно, после меня на него набросился...

Бродяга смолк и тяжело опустился на лавку. Проскуров быстро дописал. Было тихо.

– Теперь, – заговорил опять следователь, – dokonчите ваше чистосердечное признание. Какой купец был с вами во время первого нападения и от чьего имени Ко`стюшка обещал награду за убийство Федора Михайлова?

Безрылов разочарованно смотрел на ослабевшего бродягу. Но тот вдруг поднялся со скамьи и принял прежний равнодушно-рассеянный вид.

– Будет! – сказал он твердо. – Боле не стану... Довольно!.. Про Костюшку-то все записали?.. Ну и ладно, вперед не пакости он! Прикажете, ваше благородие, увести меня, более ничего не скажу.

– Послушайте, Иван тридцати восьми лет, – сказал следователь, – считаю нужным предупредить вас, что чем полнее будет ваше сознание, тем мягче отнесется к вам правосудие. Сообщников же ваших вы все равно не спасете.

Бродяга пожал плечами.

– Это дело не наше. Мне все единственно.

Очевидно, не было надежды добиться от него чего-либо еще. Его вывели.

IX. Ход

Предстоит допрос свидетелей.

Они столпились кучкой у задней стены. Серая толпа с угрюмыми лицами стояла, переминаясь, в тяжелом молчании. Впереди всех был Евсеич. Лицо его было красно, губы сжаты, лоб наморщен. Он кидал исподлбья довольно мрачные взгляды, останавливая их то на Безрылове, то на следователе. По всему было видно, что в этой толпе и в Евсеиче, ее представителе, созрело какое-то решение.

Безрылов сидел на лавке, расставив широко ноги и пощелкивая пальцем одной руки по другой. Пока крестьяне входили и занимали места, он смотрел на них внимательно и вдумчиво. Потом, окинув всю толпу холодным, презрительным взглядом, он слегка, почти незаметно, покачал головой и, усмехнувшись, обратился к Проскурову:

– Кстати, Афанасий Иванович, я ведь и забыл поздравить вас с приятною новостью... Уж извините... Все эти хлопоты... Просто из ума вон...

– С чем это? – спросил Проскуров, не отрываясь от чтения протокола.

– Как? – просиял Безрылов. – Значит, вам ничего не известно, и я, некоторым образом, первый буду иметь удовольствие сообщить вам это приятное известие? Очень, оч-чень приятно-с...

Проскуров поднял глаза на заседателя, который, между тем, подходил к нему, брякая шпорами и обворожительно улыбаясь.

– Вы получаете назначение исправляющим должность казначея в Н-ск... Ну, да это, конечно, одна форма; без сомнения, вы будете утверждены окончательно. Поздравляю, голубчик, – продолжал Безрылов самым задушевным и благожелательным тоном, завладевая рукой удивленного Проскурова, – поздравляю от всего сердца.

Но Проскуров плохо оценил дружеское поздравление; он быстро отдернул руку и вскочил с места.

– По... позвольте-с, милостивый государь, – заговорил он торопливо и даже заикаясь. – Здесь шутить не место. Н-не место-с!.. Думаете, я не понимаю вашей тактики? Ошибаетесь, милостивый государь. Я не теленок... да-с, милостивый государь, не теленок-с!..

– Что вы, бог с вами, Афанасий Иванович! – изумился Безрылов и даже развел руками и оглянулся, как будто призывая всех присутствующих в свидетели черной неблагодарности Проскурова. – Смею ли я шутить?.. Официальное назначение... сам читал бумагу-с... Уверяю вас... Ну и местечко, я вам скажу! – продолжал он, изменив тон и вновь впадая в дружескую фамильярность. – Теперь уж вам не придется возиться с этими неприятными делами. Даже и настоящее дело нам, несчастным, придется, вероятно, кончать без вашего незаменного содействия... Жаль, конечно!.. Зато за вас... приятно-с! Место тихое, спокойное... ха-ха-ха!.. Как раз... ха-ха-ха!.. по вашему нраву... И притом... от купечества... ха-ха-ха-ха-ха!.. благодарность...

Безрылов как будто перестал стесняться, и его смех, от которого сотрясалась вся его тучная фигура, становился даже неприличен... А Проскуров стоял перед ним точно окаменелый, держась за стол обеими руками. Его лицо сразу как-то осунулось и пожелтело, и на нем застыло выражение горестного изумления. В эту минуту – увь! – он действительно напоминал... теленка.

Я посмотрел на крестьян. Все они как-то подались головами вперед, только Евсеич стоял, низко нагнув голову, по своему обычаю, и слушал внимательно, не проронив ни одного слова.

Дальнейший допрос не представлял уже в моих глазах ни малейшего интереса. Я вышел в переднюю...

Там, в углу на лавке, сидел жиган. Несколько крестьян-караульных стояли в сторонке. Я подошел к арестованному и сел рядом. Он посмотрел на меня и подвинулся.

– Скажите мне, – спросил я у него, – неужели у вас действительно не было никакой вражды к покойному Михайлову?

Бродяга вскинул на меня своими спокойными голубыми глазами.

– Чего? – переспросил он. – Какая может быть вражда? Нет, не видывал я его ранее.

– Так из-за чего же вы убили? Ведь уж наверное не из-за тех пятидесяти рублей, что при вас найдены?

– Конечно, – произнес он задумчиво. – Нам, при нашей жизни, вдесятеро столько – и то на неделю хватит, а так, что значит... может ли быть, например, эдакое дело, чтобы вдруг человека железом не взять...

– Неужто из любопытства стоило убивать другого, да и себе жизнь портить?

Бродяга посмотрел на меня с каким-то удивлением.

– Жизнь, говоришь?.. Себе то есть?.. Какая может быть моя жизнь? Вот нынче я Михайла прикончил, а доведись иначе, может, он бы меня уложил...

– Ну нет, он не убил бы.

– Твоя правда: мог он убить меня – сам жив бы остался.

– Тебе его жалко?

Бродяга посмотрел на меня, и взгляд его сверкнул враждой.

– Уйди ты! Что тебе надо? – сказал он и потом прибавил, понуриив голову: – Такая уж моя линия!..

– Какая?

– А вот такая же... Потому как мы с измалетства на тюремном положении...

– А бога ты не боишься?

– Бога-то? – усмехнулся бродяга и тряхнул головой. – Давненько что-то я с ним, с богом-то, не считался... А надо бы! Может, еще за ним сколько-нибудь моего замоленного осталось... Вот что, господин, – сказал он, переменяя тон, – ничего этого нам не требуется. Что ты пристал? Говорю тебе: линия такая. Вот теперь я с тобой беседую как следует быть, аккуратно. А доведись, в тайге-матушке или хоть тот раз, в лого, – тут опять разговор был бы иного рода... Потому – линия другая... Эхма!

Он опять встряхнул своими русыми волосами.

– Нет ли, господин, табачку покурить? Страсть курить охота! – заговорил он вдруг как-то развязно; но мне эта развязность показалась фальшивой.

Я дал ему папиросу и вышел на крыльцо. Из-за лесу подымалось уже солнце. С Камня над логом снимались ночные туманы и плыли на запад, задевая за верхушки елей и кедров. На траве сверкала роса, а в ближайшее окно виднелись желтые огоньки восковых свечей, поставленных в изголовье мертвого тела.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.